Н. А. ТЭФФИ

ВСЁ О ЛЮБВИ

ПАРИЖ

ВСЕ О ЛЮБВИ

Н. А. ТЭФФИ

ВСЕ о ЛЮБВИ

LA PRESSE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
O. ZELUCK, ÉDITEUR
PARIS

ФЛИРТ

В каютке было душно нестерпимо, пахло раскаленным утюгом и горячей клеенкой. Штору поднять было нельзя, потому что окно выходило на палубу, и так, в потемках, злясь и спеша Платонов брился и переодевался.

— Вот двинется пароход — будет прохладнее, — утешал он себя. В поезде тоже было не слаще.

Прифрантившись в светлый костюмчик, белые башмаки, тщательно расчесав темные, редеющие на темени волосы, вышел он на палубу. Здесь дышать было легче, но палуба вся горела от солнца и ни малейшего движения воздуха не чувствовалось, несмотря на то, что пароход уже чуть чуть подрагивал и тихо отплывали, медленно поворачиваясь, сады и колокольни гористого берега.

— Пошли.

Время для Волги было неблагоприятное. Конец июля. Река уже мелела, пароходы двигались медленно, промеряя глубину.

Пассажиров в первом классе было на редкость мало: огромный толстый купчина в картузе с женой, старой и тихой, священник, две недовольные пожилые дамы.

Платонов прошелся несколько раз по пароходу.

— Скучновато!

Хотя в виду некоторых обстоятельств это было очень

удобно. Больше всего боялся он встретить знакомых.

— Но, все-таки, чего же это так пусто?

И вдруг из помещения пароходного салона раздался залихватский шансонетный мотивчик. Пел хрипловатый баритон под аккомпанемент дребезжащего рояля.

Платонов улыбнулся и повернул на эти приятные звуки.

В пароходном салончике было пусто... Только за пианино, украшенном букетом цветного ковыля, сидел кряжистый молодой человек, в голубой ситцевой косоворотке. Сидел он на табуретке боком, спустив левое колено к полу, словно ямщик на облучке, и лихо расставив локти, тоже как-то по-ямщицки (будто правил тройкой) лупил по клавишам.

«Надо быть немножко недотро-гай
Немножко стро-гай
И он готов!»

Он встряхивал могучей гривой плохо расчесанных светлых волос.

«И на уступки
Пойдут голубки
И траля-ля-ля-ля
И траля-ля».

Заметил Платонова и вскочил.

— Разрешите представиться, Окулов, холерный студент-медик.

— Ах, да — сообразил Платонов. — То-то пассажиров так мало. Холера.

— Да какая там к чорту холера. Перепьются, — ну,

их и тошнит. Я вот мотался который рейс и еще не констатировал ни одного случая.

Рожа у студента Окулова была здоровая, красная, темнее волос и выражение было на ней такое, какое бывает у человека, приготовившегося дать кому нибудь по физиономии: рот распяленный, ноздри раздутые, глаза выпученные. Словно природа зафиксировала этот предпоследний момент, да так и пустила студента вдоль по всей жизни.

— Да, голубчик мой — говорил студент. — Тощища патентованная. Ни одной дамочки. А сядет, так такой мордоворот, что морская болезнь на тихой воде делается. А вы что-ж, для удовольствия едете? Не стоило того. Река — дрянь. Жарища, вонища. На пристанях ругня. Капитан — чорт его знает что; должно быть, запойный, потому что за столом водки не пьет. Жена у него девчонка — четыре месяца женаты. Я было пробовал с ней как с путной. Дурища, аж лоб трещит. Учить меня вздумала. «От ликующих, праздно болтающих» и «приноси пользу народу». Подумаешь — мать командирша! Изволите ли видеть, из Вятки с запросами и душевными изгибами. Плюнул и бросил. А вот, знаете, этот мотивчик? Прехорошенький:

«От цветов моих
Дивный аромат...»

Во всех кафешантанах поют.

Он быстро повернулся, сел «на облучок», тряхнул космами и поехал.

«Увы мамаша
Ах, что такое...»

— Ну и медик! — подумал Платонов и пошел бродить по палубе.

**
*

К обеду выползли пассажиры. Тот самый купец мастодонт с супругой, нудные старухи, священник, еще каких-то двое торговых людей и личность с длинными прядистыми волосами в грязном белье, в медном пенснэ, с газетами в оттопыренных карманах.

Обедали на палубе, каждый за своим столиком. Пришел и капитан, серый, одутловатый, мрачный, в поношенном холщевом кителе. С ним девочка лет четырнадцати, гладенькая, с подкрученной косой, в ситцевом платьице.

Платонов уже кончал свою традиционную ботвинью, когда к столу его подошел медик и крикнул лакею:

— Мой прибор сюда!

— Пожалуйста, пожалуйста! — пригласил его Платонов. — Очень рад.

Медик сел. Спросил водку, селедку.

— Па-аршивая река!—начал он разговор.—«Волга, Волга, весной многоводною, ты не так затопляешь поля»... Не так. Русский интеллигент всегда чему нибудь учит. Волга, вишь, не так затопляет. Он лучше знает, как надо затоплять.

— Позвольте, — вставил Платонов, — вы, как будто, что то путаете. А впрочем, я толком не помню.

— Да я и сам не помню — добродушно согласился студент. А видели нашу дуру-то?

— Какую дуру?

— Да мать командиршу. Вот с капитаном сидит. На-

рочно сюда не смотрит. Возмущена моей «кафешантанной натурой».

— Как? — удивился Платонов. Эта девочка? Да ведь ей не больше пятнадцати лет.

— Нет, немножко больше. Семнадцать, что-ли. А он то хорош? Я ей сказал «ведь это все равно, что за барсука выйти замуж. Как вас поп венчать согласился»? Ха-ха! Барсука с козявкой! Так что вы думаете? — Обиделась! Вот-то дура!

***

Вечер был тихий, розовый. Зажглись цветные фонарики на буйках, и волшебно, сонно скользил между ними пароход. Пассажиры рано разбрелись по каютам, только на нижней палубе еще возились тесно нагруженные пильщики-плотники, да скулил комариную песню татарин.

На носу шевелилась ветерком белая легкая шалька, притянула Платонова.

Маленькая фигурка капитановой жены прильнула к борту и не двигалась.

— Мечтаете? — спросил Платонов.

Она вздрогнула, обернулась испуганно.

— Ох! Я думала опять этот....

— Вы думали этот медик? А? Действительно пошловатый тип.

Тогда она повернула к нему свое нежное худенькое личико с огромными глазами, цвет которых различить уже было трудно.

Платонов говорил тоном серьезным, внушающим доверие. Осудил медика за шансонетки очень строго. Даже выразил удивление, что могут его занимать такие пошло-

сти, когда судьба дала ему полную возможность служить святому делу помощи страдающему человечеству.

Маленькая капитанша повернулась к нему вся целиком, как цветок к солнцу, и даже ротик открыла.

Выплыла луна, совсем молодая, еще не светила ярко, а висела в небе просто, как украшение. Чуть плескала река. Темнели леса нагорного берега. Тихо.

Платонову не хотелось уходить в душную каюту и чтобы удержать около себя это милое, чуть белеющее ночное личико, он все говорил, говорил на самые возвышенные темы, иногда даже сам себя стыдясь.

— Ну и здоровая же брехня!

Уже розовела заря, когда сонный и душевно умиленный пошел он спать.



На другой день, было это самое роковое двадцать третье июля, когда должна была сесть на пароход — всего на несколько часов, на одну ночь — Вера Петровна.

По поводу этого свидания, надуманного еще весною, он получил уже с дюжину писем и телеграмм. Нужно было согласовать его деловую поездку в Саратов с ее неделовой к знакомым в имение. Представлялось чудное поэтическое свидание, о котором никто никогда не узнает. Муж Веры Петровны занят был постройкой винокуренного завода и проводить ее не мог. Все шло, как по маслу.

Предстоящее свидание не волновало Платонова. Он не видел Веры Петровны уже месяца три, а для флирта это срок долгий. Выветривается. Но все же встреча представлялась приятной, как развлечение, как перерыв меж-

ду сложными петербургскими делами и неприятными деловыми свиданиями, ожидавшими его в Саратове.

Чтобы сократить время, он сразу после завтрака лег спать и проспал часов до пяти. Тщательно причесался, обтерся одеколоном, прибрал на всякий случай свою каюту и вышел на палубу справиться, — скоро ли та самая пристань. Вспомнил капитаншу, поискал глазами, не нашел. Ну, да она теперь и не к чему.

У маленькой пристани стояла коляска и суетились какие-то господа и дама в белом платье.

Платонов решил, что на всякий случай благоразумнее будет спрятаться. Может быть, сам супруг провожает.

Он зашел за трубу и вышел, когда пристань уже скрылась из глаз.

— Аркадий Николаевич!

— Дорогая!

Вера Петровна красная, с прилипшими ко лбу волосами — «восемнадцать верст по этой жаре!» — тяжело дыша от волнения, сжимала его руку.

— Безумно... безумно... — повторял он, не зная, что сказать.

И вдруг за спиной радостный вопль неприятно знакомого голоса:

— Тетичка! Вот так суприз! Куда вы это? — вопил холерный студент.

Он оттер плечом Платонова и, напирая на растерянную даму, чмокнул ее в щеку.

— Это... разрешите познакомить... — с выражением безнадежного отчаяния залепетала та, — это племянник мужа. Вася Окулов.

— Да мы уже отлично знакомы, добродушно весе-

лился студент. А вы знаете, тетичка, вы в деревне здорово разжирели! Ей Богу! Бока какие! Прямо постамент!

— Ах, оставьте! — чуть не плача лепетала Вера Петровна.

— А я и не знал, что вы знакомы! — продолжал веселиться студент. — А может быть вы нарочно и встретились? Рандеву? Ха-ха-ха! Идемте, тетичка, я покажу вам вашу каюту. До свиданья, мосье Платонов. Обедать будем вместе?

Он весь вечер так и не отставал ни на шаг от несчастной Веры Петровны. Только за обедом пришла ему блестящая мысль пойти самому в буфет распечь за теплую водку. Этих нескольких минут едва хватило, чтобы выразить отчаяние и любовь и надежду, что может быть ночью негодяй угомонится.

— Когда все заснут, приходите на палубу, к трубе, я буду ждать — шепнул Платонов.

— Только ради Бога осторожней! Он может насплетничать мужу.

Вечер вышел очень нудный. Вера Петровна нервничала. Платонов злился и оба все время в разговоре старались дать понять студенту, что встретились совершенно случайно и очень этому обстоятельству удивляются.

Студент веселился, пел идиотские куплеты и чувствовал себя душой общества.

— Ну, а теперь спать, спать, спать! — распорядился он. — Завтра вам рано вставать, не к чему утомляться. Я за вас перед дядичкой отвечаю.

Вера Петровна многозначительно пожала руку Платонова и ушла в сопровождении племянничка.

Легкая тень скользнула около перил. Тихий голосок

окликнул. Платонов быстро отвернулся и зашагал в свою каюту.

— Теперь еще «эта» привяжется — подумал он про маленькую капитаншу.

Выждав полчаса, он тихонько вышел на палубу и направился к трубе.

— Вы?

— Я!

Она уже ждала его, похорошевшая в туманном сумраке, закутанная в длинную темную вуаль.

— Вера Петровна! Дорогая! Какой ужас!

— Это ужасно! Это ужасно! — зашептала она. — Столько труда было уговорить мужа. Он не хотел, чтобы я ехала одна к Северяковым, ревнует к Мишке. Хотел ехать в июне, я притворилась больной.. Вообще, так все было трудно, такая пытка...

— Слушайте, Вера, дорогая! Пойдем ко мне! У меня, право, безопаснее. Мы посидим тихо, тихо, не зажигая огня. Я только поцелую милые глазки, только послушаю ваш голос. Ведь я его столько месяцев слышал только во сне. Ваш голос! Разве можно его забыть! Вера! Скажи мне что нибудь!

— Э-те-те-те! — вдруг запел над ними хрипловатый басок.

Вера Петровна быстро отскочила в сторону.

— Это что такое?—продолжал студент, потому что это, конечно, был он...—Туман, сырость, разве можно ночью на реке рассиживать. Ай-ай-ай! Ай-да тетичка! Вот я все дядичке напишу. Спать, спать, спать! Нечего, нечего! Аркадий Николаевич, гоните ее спать. Застудит живот и схватит холеру.

— Да я иду, да я же иду — дрожащим голосом бормотала Вера Петровна.

— Так рисковать! — не унимался студент. Сырость, туман!

— Да вам-то какое дело! — обозлился Платонов.

— Как какое? Мне же перед дядичкой за нее отвечать. Да и поздно. Спать, спать, спать. Я вас, тетичка, провожу и будут всю ночь у двери дежурить, а то вы еще снова выскочите и непременно живот застудите.



Утром, после очень холодного прощанья («Она еще на меня же и дуется», — недоумевал Платонов), Вера Петровна сошла с парохода.

Вечером легкая фигурка в светлом платьице сама подошла к Платонову.

— Вы печальны? — спросила она:

— Нет. Почему вы так думаете?

— А как же... ваша Вера Петровна уехала — зазвенел ее голос неожиданно дерзко, точно вызовом.

Платонов засмеялся:

— Да ведь это же тетка вашего приятеля, холерного студента. Она даже похожа на него — разве вы не заметили?

И вдруг она засмеялась, так доверчиво, по-детски, что ему самому стало просто и весело. И сразу смех этот точно сдружил их. И пошли душевные разговоры. И тут узнал Платонов, что капитан отличный человек и обещал отпустить ее осенью в Москву учиться.

— Нет, не надо в Москву! — перебил ее Платонов. Надо в Петербург.

— Отчего?

— Как отчего? Оттого, что я там!!

И она взяла его руку своими худенькими ручками и смеялась от счастья.

Вообще ночь была чудесная. И уже на рассвете вылезла из-за трубы грузная фигура и зевая позвала:

— Марусенок, полунощница! Спать пора.

Это был капитан.

И еще одну ночь провели они на палубе. Луна подросшая показала Платонову огромные глаза Марусеньки, вдохновенные и ясные.

— Не забудьте номер моего телефона — говорил он этим изумительным глазам. — Вам даже не надо называть своего имени. Я по голосу узнаю вас.

— Вот как? Не может быть! — восхищенно шептала она. — Неужели узнаете?

— Вот увидите! Разве можно забыть его, голосок ваш нежный! Просто скажите — это я.

И какая чудесная начнется после этого телефона жизнь! Театры, конечно, самые серьезные — ученые лекции, выставки. Искусство имеет огромное значение... И красота. Например, ее красота...

И она слушала! Как слушала! И когда что-нибудь очень ее поражало, она так мило, так особенно говорила «вот как!»

Рано утром он вылез в Саратове. На пристани уже ждали его скучные деловые люди, корчили неестественно приветливые лица. Платонов думал, что одно из этих приветливых лиц придется уличить в растрате, другое выгнать за безделье и уже озабоченный и заранее злой стал спускаться по трапу. Случайно обернувшись, увидел у перил «ее». Она жмурилась сонным личиком и

крепко сжимала губы, словно боялась расплакаться, но глаза ее сияли такие огромные и счастливые, что он невольно им улыбнулся.

**
*

В Саратове захлестнули днем дела, вечером пьяный угар. В кафешантане Очкина, гремевшем на всю Волгу купецкими кутежами, пришлось, как полагается, провести вечерок с деловыми людьми. Пели хоры — цыганский, венгерский, русский. Именитый волжский купец куражился над лакеями. Наливая сорок восемь бокалов, плеснул лакей нечаянно на скатерть.

— Наливать не умеешь, мерзавец!

Рванул купец скатерть, задребезжали осколки, залили шампанским ковер и кресла.

— Наливай сначала!

Запах вина, сигарный дым, галдеж.

— Рытка! Рытка! — хрипели венгерки сонными голосами.

На рассвете из соседнего кабинета раздался дикий, какой-то уж совсем бараний рев.

— Что такое?

— Господин Аполлосов веселятся. Это они всегда под конец сбирают всех официантов и заставляют их хором петь.

Рассказывают: этот Аполлосов, скромный сельский учитель, купил в рассрочку у Генриха Блока выигрышный билет и выиграл семьдесят пять тысяч. И как только денежки получил, так и засел у Очкина. Теперь уж капитал к концу подходит. Хочет все до последней копейки здесь оставить. Такая у него мечта. А потом попросится опять на прежнее место, будет сельским учителем

век доживать и вспоминать о роскошной жизни, как ему на рассвете официанты хором пели.

— Ну, где кроме России и души русского человека найдете вы такое «счастье»?



Прошла осень. Настала зима.

Зима у Платонова началась сложная, с разными неприятными историями в деловых отношениях. Работать приходилось много, и работа была нервная, беспокойная и ответственная.

И вот, как-то ожидая важного визита, сидел он у себя в кабинете. Зазвонил телефон.

— Кто говорит?

— Это я! — радостно отвечал женский голос. — Я! Я!

— Кто «я»? — раздраженно спросил Платонов. Простите, я очень занят.

— Да — я. Это — я! — снова ответил голос, и прибавил, точно удивленно:

— Разве вы не узнаете? Это — я.

— Ах, сударыня, — с досадой сказала Платонов. — Уверяю вас, что мне сейчас абсолютно нет времени заниматься загадками. Я очень занят. Будьте любезны говорить прямо.

— Значит, вы не узнали моего голоса? — с отчаянием ответила собеседница.

— А! — догадался Платонов. Ну, как же, конечно, узнал. Разве я могу не узнать ваш милый голосок, Вера Петровна!

Молчание. И потом тихо и грустно, грустно:

— Вера Петровна? Вот как... Если так, то ничего... Мне ничего не нужно...

И вдруг он вспомнил:

Да ведь это маленькая! Маленькая на Волге! Господи, что же это я наделал! Так обидеть маленькую!

— Я узнал! Я узнал — кричал он в трубку, сам удивляясь и радости своей и отчаянию. — Ради Бога! Ради Бога! Ведь я же узнал!

Но уже никто не отзывался.

ВРЕМЯ

Это был отличный ресторан с шашлыками, пельменями, поросенком, осетриной и художественной программой. Художественная программа не ограничивалась одними русскими номерами «Лапоточками», да «Бубличками», да «Очами черными». Среди исполнителей были негритянки, и мексиканки, и испанцы, и джентльмэны неопределенно джазовского племени, певшие на всех языках малопонятные носовые слова, пошевеливая бедрами. Даже заведомо русские артисты, перекрестившись за кулисами, пели на-бис по-французски и по-английски.

Танцовальные номера, позволявшие артистам не обнаруживать своей национальности, исполнялись дамами с самыми сверхестественными именами: Такуза Иука. Рутуф Яй-яй. Экама Юя.

Были среди них смуглые, почти черные экзотические женщины, с длинными зелеными глазами. Были и розово-золотые блондинки и огненно-рыжие, с коричневой кожей. Почти все они вплоть до мулаток были, конечно, русскими. С нашими талантами даже этого не трудно достигнуть. «Сестра наша бедность» и не тому научит.

Обстановка ресторана была шикарная. Именно это слово определяло ее лучше всего. Не роскошная, не пышная, не изысканная, а именно шикарная.

Цветные абажурчики, фонтанчики, вделанные в стены зеленые аквариумы с золотыми рыбками, ковры, потолок, расписанный непонятными штуками, среди которых угадывались то выпученный глаз, то задранная нога, то ананас, то кусок носа с прилипшим к нему моноклем, то рачий хвост. Сидящим за столиками казалось, что все это валится им на голову, но, кажется, именно в этом и состояло задание художника.

Прислуга была вежливая, не говорила запоздавшим гостям:

— Обождите. Чего же переть, когда местов нету. Здесь не трамвай.

Ресторан посещался столько же иностранцами, сколько русскими. И часто видно было, как какой-нибудь француз или англичанин, уже, видимо, побывавший в этом заведении, приводил с собой друзей и с выражением лица фокусника, глотающего горящую паклю, опрокидывал в рот первую рюмку водки и, выпучив глаза, затыкал ее в горле пирожком. Приятели смотрели на него, как на отважного чудака, и, недоверчиво улыбаясь, нюхали свои рюмки.

Французы любят заказывать пирожки. Их почему-то веселит это слово, которое они выговаривают с ударением на «о». Это очень странно и необъяснимо. Во всех русских словах французы делают ударение, по свойству своего языка, на последнем слове. Во всех — кроме слова «пирожки».

За столиком сидели Вава фон Мерзен, Муся Ривен и Гогося Ливенский. Гогося был из высшего круга, хотя и дальней периферии; поэтому, несмотря на свои шесть-

десят пять лет, продолжал отзываться на кличку Гогося.

Вава фон Мерзен, тоже давно выросшая в пожилую Варвару, в мелко завитых сухих букольках табачного цвета, так основательно прокуренных, что если их срезать и мелко порубить, то можно было бы набить ими трубку какого-нибудь невзыскательного шкипера дальнего плавания.

Муся Ривен была молоденькая, только что в первый раз разведенная деточка, грустная, сентиментальная и нежная, что не мешало ей хлопать водку рюмка за рюмкой, безрезультатно и незаметно ни для нее, ни для других.

Гогося был очаровательным собеседником. Он знал всех и обо всех говорил громко и много, изредка, в рискованных местах своей речи переходя по русской привычке на французский язык, отчасти для того, чтобы «слуги не поняли», отчасти потому, что французское неприличие пикантно, а русское оскорбляет слух.

Гогося знал, в каком ресторане, что именно надо заказывать, здоровался за руку со всеми мэтр д-отелями, знал, как зовут повара и помнил что, где и когда съел.

Удачным номерам программы громко аплодировал и кричал барским баском:

— Спасибо, братец!

Или:

— Молодец, девчоночка!

Многих посетителей он знал, делал им приветственный жест, иногда гудел на весь зал:

— Comment ça va? Анна Петровна en bonne santé?

Словом, был чудесным клиентом, заполнявшим одной своей персоной зал на три четверти.

Напротив них, у другой стены, заняла столик инте-

ресная компания. Три дамы. Все три более, чем пожилые. Попросту говоря — старухи.

Дирижировала всем делом небольшая, плотная, с головой, ввинченной прямо в бюст, без всякого намека на шею. Крупная бриллиантовая брошка упиралась въ двойной подбородок. Седые, отлично причесанные волосы были прикрыты кокетливой черной шляпкой, щеки подпудрены розоватой пудрой, очень скромно подрумяненный рот обнажал голубовато-фарфоровые зубки. Великолепная серебряная лисица пушилась выше ушей. Старуха была очень элегантна.

Две другие были мало интересны и видимо были нарядной старухой приглашены.

Выбирала она и вино и блюда очень тщательно, при чем и приглашенные, очевидно, «губа не дура», резко высказывали свое мнение, и защищали позиции. За еду принялись дружно, с огнем настоящего темперамента. Пили толково и сосредоточенно. Быстро раскраснелись. Главная старуха вся налилась, даже чуть-чуть посинела и глаза у нее выпучились и постеклянели. Но все три были в радостно-возбужденном настроении, как негры, только что освежевавшие слона, когда радость требует продолжения пляски, а сытость валит на землю.

— Забавные старухи! — сказала Вава фон Мерзен, направив на веселую компанию свой лорнет.

— Да, — восторженно подхватил Гогося. — Счастливый возраст. Им уже не нужно сохранять линию, не нужно кого-то завоевывать, кому-то нравиться. При наличии денег и хорошего желудка это самый счастливый возраст. И самый беспечный. Больше уже не надо строить свою жизнь. Все готово.

— Посмотрите на эту, на главную, — сказала Муся

Ривен, презрительно опустив уголки рта. — Прямо кавая-то развеселая корова. Так и вижу, какая она была всю жизнь.

— Наверно, пожито отлично, — одобрительно сказал Гогося. — Живи и жить давай другим. Веселая, здоровая, богатая. Может быть, даже была недурна собой. Сейчас судить, конечно, трудно. Комок розового жира.

— Думаю, что была скупа, жадна и глупа, — вставила Вава фон Мерзен. — Смотрите, как она ест, как пьет, чувственное животное.

— А все-таки кто-то ее, наверное, любил, и даже женился на ней, — мечтательно протянула Муся Ривен.

— Просто женился кто-нибудь из-за денег. Ты всегда предполагаешь романтику, которой в жизни не бывает.

Беседу прервал Тюля Ровцын. Он был из той же периферии круга, что и Гогося, поэтому и сохранил до шестидесяти трех лет имя Тюли. Тюля тоже был мил и приятен, но беднее Гогоси и весь минорнее. Поболтав несколько минут, встал, огляделся и подошел к веселым старухам. Те обрадовались ему, как старому знакомому, и усадили его за свой стол.

Между тем, программа шла своим чередом.

На эстраду вышел молодой человек, облизнулся, как кот, поевший курятинки, и под завывание и перебойное звяканье джаза исполнил каким-то умоляюще-бабьим воркованием английскую песенку. Слова песенки были сентиментальны и даже грустны, мотив однообразно уныл. Но джаз делал свое дело, не вникая в эти детали. И получалось, будто печальный господин плаксиво рассказывает о своих любовных неудачах, а какой-то сумасшедший разнузданно скачет, ревет, свистит и бьет плаксивого господина медным подносом по голове.

Потом под ту же музыку проплясали две испанки. Одна из них взвизгнула, убегая, что очень подняло настроение публики.

Потом вышел русский певец с французской фамилией. Спел сначала французский романс, потом на-бис — старый русский:

«Твой кроткий раб, я встану на колени.
«Я не борюсь с губительной судьбой,
«Я на позор, на горечь унижений —
«На все пойду за счастье быть с тобой».

— Слушайте! Слушайте! — вдруг насторожился Гогося. — Ах, сколько воспоминаний! Какая ужасная трагедия связана с этим романсом. Бедный Коля Изубов... Мария Николаевна Рутте... граф...

«Когда мой взор твои глаза встречает,
«Я весь мучительным восторгом обуян»
— томно выводил певец.

— Я всех их знал, — вспоминал Гогося. — Это романс Коли Изубова. Прелестная музыка. Он был очень талантлив. Морячок...

...«Так благостные звезды отражает
Бушующий, бездонный океан...»
— продолжал певец.

— Какая она была очаровательная! И Коля, и граф были в нее влюблены, как сумасшедшие. И Коля вызвал графа на дуэль. Граф его и убил. Муж Марии Николаев-

ны был тогда на Кавказе. Возвращается, а тут этот скандал, и Мария Николаевна ухаживает за умирающим Колей. Граф, видя, что Мария Николаевна все время при Коле, пускает себе пулю в лоб, оставя ей предсмертное письмо, что он знал о ее любви к Коле. Письмо, конечно, попадает в руки мужа, и тот требует развода. Мария Николаевна страстно его любит и буквально ни в чем не виновата. Но Рутте ей не верит, берет назначение на Дальний Восток и бросает ее одну. Она в отчаянии, страдает безумно, хочет идти в монастырь. Через шесть лет муж вызывает ее к себе в Шанхай. Она летит туда, возрожденная. Застает его умирающим. Прожили вместе только два месяца. Все понял, все время любил ее одну и мучился. Вообще, это такая трагедия, что прямо удивляешься. как эта маленькая женщина смогла все это пережить. Тут я ее потерял из вида. Слышал только, что она вышла замуж и ее муж был убит на войне. Она, кажется, тоже погибла. Убита во время революции. Вот Тюля хорошо ее знал, даже страдал в свое время.

«Бушу-у-ющий бездонный океан».

— Замечательная женщина! Таких теперь не бывает.

Вава фон Мерзен и Муся Ривен обиженно молчали.

— Интересные женщины бывают во всякую эпоху, — процедила, наконец, Вава фон Мерзен.

Но Гогося только насмешливо и добродушно похлопал ее по руке.

— Посмотрите, — сказала Муся, — ваш приятель говорит про вас со своими старухами.

Действительно, и Тюля и его дамы смотрели прямо на Гогосю. Тюля встал и подошел к приятелю, а главная старуха кивала головой.

— Гогося! — сказал Тюля. — Мария Николаевна

оказывается, отлично тебя помнит. Я ей назвал твое имя и она сразу вспомнила и очень рада тебя видеть.

— Какая Мария Николаевна? — опешил Гогося.

— Нелогина. Ну, — бывшая Рутте. Неужто забыл?

— Господи! — всколыхнулся Гогося. — Ведь только что о ней говорили!.. Да где же она?

— Идем к ней на минутку, — торопил Тюля. — Твои милые дамы простят.

Гогося вскочил, удивленно озираясь.

— Да где же она?

— Да вон, я сейчас с ней сидел... Веду, веду! — закричал он.

И главная старуха закивала головой и, весело раздвинув крепкие толстые щеки подмазанным ртом, приветливо блеснула ровным рядом голубых фарфоровых зубов.

ФЕЯ КАРАБОС

Кухарка Аксинья прибегала два раза.

Была она крепкая, темно-румяная, с зубами такими белыми, что издали казалось, будто держит она во рту кусок творога.

Прибегала она к Ильке наниматься в няньки к будущему ребеночку.

Ильке нравилось, что она такая веселая, удалая, и сама себя называла «Сенька», словно деревенского парня.

Говорила она таинственным шопотом и все поглядывала на двери — не подслушивает ли кто, но гоготала во все горло.

— Если, барыня, у тебя сыночек будет, я ему шапочку сошью. Один бочек красненький, другой желтенький — га-га-га! Ну, а если доченька, тут уж надо чепчик с кружевцами.

В последний раз наговорила такой веселой ерунды, что даже печальная Илька развеселилась. Рассказала Сенька, что у какого-то немца есть коза, и что навесили этой козе на шею шерстяную красную возжинку с бубенчиками. Бубенчики не такие, как на лошадях, а маленькие, золотенькие, и так и поют. Так, вот, Сенька хочет один бубенчик, либо два отрезать и припрятать для маленького.

— На веревочку привяжем, он будет ручками треньkать и на всю жизнь веселым станет. А в нашем городе таких бубенчиков все равно не купишь. Это видно привозные. Один отрезать не беда, не заметят. А и заметят, так не дознаются кто. Га-га-га!

Сенька глупая, плутоватая, но так от нее делалось просто и весело, что век бы с ней не расстался. Но для счастья с Сенькой было серьезное препятствие. В ее прошлом — двое ребят и ни одного мужа. Один ребенок помер в деревне, другой, «как быдто жив». Сердитый Илькин муж не позволит Сеньку нанять.

Она уж приготовилась подоврать чего-нибудь, изобразить Сеньку жертвой, да как-то не знала, как к этому делу подступиться. При одной мысли о разговоре со Станей начиналось сердцебиение.

Но, вот, как-то тот сам заговорил.

— Нужно подыскать няньку к будущему ребенку.

Илька взволновалась, задохнулась, приготовилась говорить, но он продолжал:

— Но мне повезло, — сказал он торжественно. — Я наметил для ребенка воспитательницу. Это сестра жены аптекаря. Сама лишенная возможности иметь собственную семью, она готова принести себя в жертву интересам чужого ребенка.

— Господи! — думала Илька. — Как он ужасно горит. Ну какие у ребеночка интересы? Как все делается уныло и страшно.

— Эта женщина, вернее, — эта девица, ее зовут Казимира Карловна, еще никогда не служила. У нас будет ее первое место. И что очень ценно — она горбатая.

У Ильки побледнели губы.

— Ценно? — тихо спросила она.

— Да, ценно, — повторил он и упрямо выпятил лоб. — Вы, конечно, не можете этого понять, хотя теперь, готовясь к материнству, должны были бы более чутко относиться к своему долгу.

Он закурил папиросу и начал трясти коленом.

— Злится! — подумала Илька. — И чего?

— Ребенок должен с первых дней жизни учиться любить все обездоленное. Он привяжется к своей уродливой воспитательнице, — она, к счастью, исключительно некрасива, кроме плохой фигуры, — и будет вместе с ней страдать от уколов и насмешек пошлой толпы. Эта женщина, вернее девица, уже заранее поставила условием, чтобы не заставляли ее гулять с ребенком в парке. Она уже приобрела на кладбище место для своей могилы и будет каждый день возить туда колясочку с ребенком. Я нахожу, что это прекрасно. В парке, где прохожие будут ахать и восторгаться ребенком, только привьют молодой душе тщеславие. К чему это? И еще она поставила условием, чтобы в детскую никаких гостей не водить. Не к чему ребенка показывать. Да, вероятно, и ей самой неприятно лишний раз ловить на себе насмешливые взоры.

— Ничего не понимаю, — сказала Илька, и покраснела. — Почему, вдруг, «насмешливые взоры?». Кто же смеется над горбатыми?

— Все! — отрезал муж. — Вы первая. Если не смеетесь, то не одобряете. Да-с.

Илька заплакала.

— Я не понимаю твоего желания окружить ребенка уродством и страданием. За что? За что его мучить? Что он беглый каторжник, что ли? Да он, может быть, и сам по себе будет добрый и жалостливый.

— Святые спали с прокаженными! — мрачно сказал Станя.

— Ты теперь будешь искать прокаженную няньку! — с отчаянием крикнула Илька. — Уж каждый раз ты мне подсовываешь этих прокаженных. Нет, если бы я была святой, я бы не лезла спать к прокаженному. Я бы уступила ему свою постель, а сама бы ушла. Прокаженный больной, ему нужен покой, удобство. А тут изволь жаться к стенке, а рядом этот бородатый святой храпит и подчеркивает свое самоотвержение. Не хорошо. Не прокаженного он любит, а себя. Не о нем заботится, а о преодолении в себе отвращения во имя самосовершенствования. Я не отдам ребенка прокаженным. Ложись с ними сам.

Она вскочила и, плача и натыкаясь на стулья, на притолку двери, пошла к ссбе и легла. И всю ее трясло, словно знобило. А потом пришла дрема и зазвенели на дворе колокольчики, не лошадиные, а тоненькие, остренькие, наверное козьи, те, что веселая Сенька украла для ребеночка. Зазвенели колокольчики и загрохотали страшные колеса. И вдруг писк, визг. Илька поднялась, подкралась к окошку и увидела. Увидела она огромную колымагу. Задние колеса втрое больше передних и обиты толстым железом. А перед колымагой катаются, переваливаются с брюха на спину громадные крысы, — мягкие, жирные, запутались в красных постромках и пищат. А из колымаги лезет, ищет приступочку костлявой старушечьей ногой страшная, длинноносая — нос на двоих рос, да еще кривой — горбунья, злая фея Карабос. Горб узкий, высокий и трясется.

— Это нянька для маленького, — думает Илька и

вся дрожит. — Повезет маленького ночевать с прокаженными.

А горбунья Карабос остановилась, задрала голову и шарит по окнам глазами, ищет Ильку. Илька чувствует — найдет она ее, уколет глазом, тут и конец, тут и погибель.

Илька закрывает лицо руками и кричит, кричит, и от крика просыпается.

Она вся мокрая и вся какая-то расслабленная. Верно, жар..

На другой день пришел доктор. Не тот, что всегда — тот уехал на месяц в отпуск — а заменяющий его, молодой, смуглый, белозубый, как Сенька. Считал Илькин пульс, качал головой.

— Анемия. И чего вы все волнуетесь? Боитесь родов? Ерунда!

— У нее скверный характер, — внушительно вступил в разговор Станя. — Я, вот, нашел воспитательницу для ребенка, с трудом нашел, это, ведь, нелегко. А она... Да, между прочим, — обратился он к жене, — я ее видел, и она дополнила условия. Она не хочет, чтобы ты ночью входила в детскую.

— Почему?

— Это ее, очевидно, стеснит.

— Фея Карабос отвинчивает ночью свой гроб и обращается в крысу, — задумчиво пробормотала Илька.

Доктор нахмурился, прислушиваясь, ничего не понял.

— Это кто же такая?

— Казимира Карловна, сестра жены аптекаря.

— Да вы с ума сошли? — закричал доктор. — Эту

ведьму брать к себе в дом? Я же ее знаю. Я лечил жену аптекаря. Ни одна кухарка не может с ней ужиться. Это же форменная ведьма! Зачем она вам понадобилась?

— Я хочу, чтобы ребенок с первых дней жизни приучился любить всех обездоленных, некрасивых, убогих.

— Ха-ха-ха! — сверкнул зубами доктор. — Вот, он как! А сам, небось, выбрал себе жену молоденькую и хорошенькую.

Илька залилась румянцем так, что даже в ушах у нее зазвенело.

Станя иронически улыбнулся.

— Откровенно говоря, я никогда не считал мою теперешнюю жену ни красивой, ни умной.

— Что же вы на деньгах женились, что ли? — резко спросил доктор.

— Нет, — деланно спокойно отвечал Илькин муж. — Денег у нее не было. Я женился на ней, потому что мне казалось, что душа ее представляет некоторый материал, из которого можно построить э-э-э... человека, как я его понимаю.

— Ага, — сказал доктор, — и засмеялся глазами. — На матерьяле, значит, женились.

И вдруг уже откровенно рассмеялся.

— А и заврались же вы, батенька мой. Ну, ну, не сердитесь, что я так. Уж очень вы смешной!

Станя медленно закурил, подчеркивая свое хладнокровие.

— Конечно, — сказал он, — вы, как врач, как физиолог, мало придаете значения воспитанию духа. Святые делили свое ложе с прокаженными.

— Что? Что делили? — смеясь и хмурясь переспросил доктор.

— Ложе. Ночевали с прокаженными.

Илька тихо застонала и закрыла глаза.

— Начинается! — пробормотала она.

— Ночевали с прокаженными? — улыбнулся доктор. — Так и ночуйте, голубчик мой, если вам нравится. Ночуйте — никто вам не мешает. Конечно, если прокаженный не выразит протеста. Но не заставляйте других, не принуждайте! На это вы не имеете никакого права. Я в этих высоких предметах, наверное, плохо разбираюсь, и очень может быть, что из вас выработается великолепнейший святой, но что муж из вас вышел скверный, это уже не подлежит никакому сомнению.

Илька испуганно и беспомощно переводила глаза с доктора на мужа. Она, казалось, ждала чего-то, какой-то минутки, чтобы обрадоваться, ждала и не смела надеяться и боялась.

Станя затряс коленом.

— Из чего вы выводите, господин доктор, что я плохой муж? Не из моей заботы о ребенке, надеюсь?

— Из чего вывожу? Из того, что вы не бережете вашу жену. Она слабенькая и нервная и требует в настоящее время исключительного внимания и ухода, а вы ее обижаете.

— Я? Ее? — искренно удивился Станя.

— Да, вы ее! Вот, она не хочет этой ведьмы. А вы ее навязываете. И, кстати, не воображайте, что эта Казимира Карловна из скромности не хочет показываться в парке, или вашим гостям. И не потому, что считает себя уродом. Ничего подобного! Просто, ей неприятно, что она поступила в прислуги. Она «гоноровая пани». Она зави-

вает волосы на папильотки, она вовсе не считает себя некрасивой. Она осточертела аптекарю, вот он и рад ее сплавить. Нет, этого измывательства над моей милой пациенткой — он нагнулся и поцеловал Илькину руку — мы не допустим. Нельзя, дорогой Станислав Адамыч. Ищите себе в рай других ворот.

Он вскочил, молча пожал руку Ильке и Стане и быстро вышел. Илька видела в окно, как он зашагал по дороге к воротам.

Он среднего роста, худощавый.

Потом, через много лет, ей будет вспоминаться, что он был очень высокий, широкоплечий, что он очень любил ее, и она за всю жизнь любила только его одного, но они не успели, не съумели, не смогли сказать это друг другу.

И иногда, в редких снах, он будет приходить к ней светло и нежно, чтобы вместе смеяться и плакать.

Имени его она никогда не вспомнит.

СТРАХОВКА

Ресторан был старого стиля, без клетчатых скатертей на столах и «режиональных» блюд в меню. Тем не менее, народу завтракало много, и на узенькой скользкой банкетке сидеть было тесно и неудобно.

Закуски были съедены и теперь, наверное, придется бесконечно ждать, пока подадут идиотское «микст-гриль», которое почему-то заказал этот нудный Берестов, вместо жареной утки, которая была в меню и которую так аппетитно едят все вокруг. Да, все едят, а ты сиди и жди в угоду господину Берестову, который влюблен и поэтому старается прыгнуть выше головы. Надоело все это. И, наконец, хочется есть, а не смотреть, как едят другие и как умиляется Берестов.

Дуся Брок сердито шевелила вилкой на тарелке колбасные шкурки и шелуху креветок, как собака, которая съела брошенный хозяином кусок и теперь водит носом по заведомо-пустому месту, притворяясь, что ищет и тем указывая хозяину на свое непременное желание получить еще.

Лицо у Дуси Брок, розовое и курносое, приготовленное яркой подкраской к выражению здорового веселья, очень подурнело от совершенно неподходящего для него выражения обиды и разочарования.

— Дорогая! — сказал Берестов. — Отчего вы такая грустненькая?

Он потянул к себе ее руку, чтобы поцеловать, но сердитая Дуся нарочно не выпускала вилку с намотанной на ней колбасной шкуркой. Тогда он оставил эту руку и, перегнувшись, ухватил другую, потянул и чмокнул. Чмокнул и приостановился.

— Отчего же не те духи, не вортовские, которые я послал?

— Я не люблю вортовские. Ладаном пахнут. Я люблю свои, Герлен.

— Ах, Боже мой, — заволновался Берестов. — Ведь я вас так просил, ну что вам стоило! Понимаете? Катюша знает ваши духи. Прошлый раз, когда мы с вами были в театре, прихожу домой, а она меня обнюхала и говорит: «с кем был? Почему Герленом пахнет?» Я говорю: «Дорогая. Это твои духи». А она в ответ: «Врешь, у меня вортовские. Я еще доищусь». Поэтому я и послал вам вортовские. А вы и не хотите! Ай-ай-ай!

— Замечательно все это интересно и остроумно, — проворчала Дуся. — Я должна обливаться какой-то зловонной массой для того, чтобы не пострадала ваша семейная жизнь. Заставьте лучше вашу дуру душиться приличными духами. А то еще ей придет в голову чесноком натираться — так и все ваши дамы должны?

Берестов покраснел, поднял рыжие брови.

— Дуся! Детка! Не надо сердиться. Вам не идет. Катюша уверяет, что когда Дуся улыбается, она молодеет на пятьдесят процентов.

— А когда Катюша говорит, так дурнеет на все сто. Ну оставим это. — Скажите лучше — намерены они нас сегодня кормить или лучше не надеяться? Не могу же я

здесь сидеть до вечера только из-за того, что вам пришла несчастная мысль заказать какую-то ерунду, которую никто из посетителей не ест.

— Ха-ха! Здесь очевидно повар не торопится. Придерживается правила, как говорит моя супруга, «тише едешь, дальше будешь».

Он даже осекся, ибо вдруг увидел перед собой чудище. На чудище была шляпка Дусина и волосы Дусины — масляные желтые локоны, по два над каждым ухом — не спутаешь. Но нос был уже не Дусин. Он побелел, как мел, и раздулся в ноздрях. Под носом, опускаясь углами вниз, задергались две красные пиявки рта, а над носом, по обе его стороны, выкатились две круглые серые пуговицы, с черными узелками посредине. И все это дрожало, прыгало и задыхалось.

— Господи! — ахнул Берестов. — Дусинька! Да что же это с вами?

— Что со мной? — сипела Дуся. — Со мной то, что это уже превзошло всякую меру и всему есть предел. Мы здесь сидим не больше четверти часа и за это время вы минимум восемь раз заставили меня слушать про вашу прелестную жену. Что она сделала, да что думала, да «Тише едешь, дальше будешь!» Что это она сама сочинила, что-ли? Старая, замызганная русская поговорка, народная дурь, которую все знают и все повторяют, а я почему то должна восхищаться, что ваша жена ее произнесла. Одного не понимаю: если вам так нравятся все ее шутки и прибаутки — отчего вы не завтракаете дома? Зачем пристаете ко мне с ножом к горлу, чтобы я пошла с вами в ресторан? Я не хочу! Мне не интересно! Ресторан выбираете всегда такой, куда никто не ходит — очевидно, чтобы не встретить знакомых, сидишь, ждешь че-

тыре часа какую-то жареную ерунду — не перебивайте меня! — ерунду вашего изобретения, от которой еще заболеешь, и вдобавок изволь слушать анекдоты из жизни его великой жены! Да что я нанялась, что-ли? Не смейте перебивать, когда я говорю. Впрочем, мне больше нечего говорить.

Она глотнула вина, откинулась на спинку стула и сказала вдруг просто и грустно:

— Поймите, дурак вы несчастный, что я когда-то готова была полюбить вас. Вы сами все испортили.

— Дуся, дорогая, — забеспокоился Берестов. — Дорогая...

Он видимо не знал, что сказать.

В это время, раздвинув графины и тарелки, лакей поставил на стол большое блюдо с румяными поджаренными кусочками мяса, сосисок, грибов и почек, эффектно проткнутых крошечными серебряными шпагами и сыпанных тонкими соломинками жареного картофеля.

— Дуся! — благоразумно выждав первые моменты умиротворяющего насыщения, сказал Берестов. — Дуся, я все вам объясню.

Что собрался он объяснить, он и сам не знал. Он не знал, что говорит о жене все время только потому, что именно о ней то говорить и не надо. А еще может быть потому, что, говоря о ней и вдобавок так дружелюбно, он как бы включает ее в их веселое содружество и не чувствует себя уже таким подлецом, который наврал, что идет в церковь и там же на Дарю, где-нибудь закусив хорошенько, пройдется пешком. Надо же от этого подлеца отмежеваться хоть тем, что тот подлец про жену разговаривать не посмел бы, а он вот не таков.

Ну да все это так сложно, что и самому то не понять,

так уж где же толком объяснить этому чудесному притихшему чудищу, жующему малиновым масляным ртом хрустящий картофель. Самому Берестову и есть уж не хотелось.

Большой, толстый, уныло подняв рыжие брови, он смотрел на милое чудище, как оно глотает, и глотал вместе с ним пустым своим ртом. Но говорить все таки надо.

— Дорогая. Я скажу вам всю правду. Конечно, я очень привязан к жене, т. е., к Катерине Николаевне...

— Опять! — застонала Дуся.

— Нет, нет, я только объясню. Мы женаты двенадцать лет. Это уже не увлечение и не страсть, это испытанная, прочная дружба. Мне пятьдесят лет, дорогое мое дитя, ей больше сорока. У меня подагра. Простите, что говорю на такие неинтересные темы, но так уж к слову пришлось. Н-да. Словом — пора, как говорится, на зимние квартиры. Она женщина добрая, беззаветно преданная, энергичная, сильная, здоровая. Без ее помощи я пропаду. Это, так сказать, мудрая страховка от тяжелых одиноких страданий, которые ждут уже тут где то за дверью. Вы, Дуся, мой праздник, мой тайный глоток шампанского, нужный глупому мужскому сердцу, чтоб оно не задохлось. А ведь я вам — к чему себя обманывать! — я вам не нужен. Вы танцовщица, у вас искусство и флирты и радости и перед вами еще огромная жизнь. А Катя — это кусок, зарытый старым псом про черный день. Настанет черный день, пес его и отроет.

— Не протух бы он к тому времени, этот ваш песий кусок, — проворчала Дуся и, вынув зеркальце, стала пудрить нос.

***

— Алло! Я слушаю. Кто говорит?

Отвечал незнакомый голос.

— Говорит сестра Александра Ильича Берестова. Он нездоров и поручил мне просить вас навестить его. Когда бы вы смогли придти?

— Ой, бедненький! А он давно болен? Что с ним? — запищала Дуся.

— Острый припадок подагры. Давно, уже недели две. Придете?

— Ну еще бы! Ой, бедненький, я ведь и не знала! Ну как было не сказать! Сейчас же прибегу.

Через полчаса Дуся звонила у дверей Берестовых. С того самого несчастного завтрака — уже больше месяца тому назад, она его не видела. Он заходил раза два, да все не заставал ее дома. Потом притих. Вот, оказывается, заболел. Теперь, значит, «страховка» на сцену. Собственно говоря, незачем было ее, Дусю, и беспокоить.

Открыла русская горничная.

— Пожалуйте, вас ждут. Сестрица ихняя только что ушли.

— А барыня дома? Катерина Николаевна?

— Нет, барыня верно к обеду придут. Пройдите сюда, они в спальне.

Первое, что увидела Дуся, была подушка и на ней что то огромное, круглое, забинтованное.

— Господи! Голова! — испугалась она.

Но это была не голова, а нога, потому что в другом конце кровати, на другой подушке, приподнялось, улыбаясь и морщась, желтое, плохо бритое, отекшее лицо. Улыбнулось, сморщилось и опустилось.

— Обойдите сюда, деточка. Спасибо, что пришли. Простите, что позвал. Скучища. Сестра Вера, добрая ду-

ша, приходит иногда поразвлечь. Вы представить себе не можете, как эта боль иногда донимает. Прямо рвет, словно клещами. Две недели лежу. Ужас.

— А где же Катерина Николаевна?

— Да вы садитесь, деточка, что же вы стоите. Катя здорова, спасибо. Садитесь сюда, чтобы я вас лучше видел. Да, так вот насчет боли. Днем еще туда-сюда, а ночью — прямо не знаешь, что и делать. Ночь долгая, тянется-тянется. То погасишь лампу, то зажжешь, то погасишь, то зажжешь. Конечно, хорошо бы припарки горячие — ну да где же ночью. И одиночество замучило. Посторонним показываться не хочется в таком виде. Это я сам не знаю, почему вдруг осмелел и вас вызвал.

— А что же Катерина Николаевна? Где она?

— Катя? У Кати днем всегда масса дел — то магазины, то уроки рисования — она что то вдруг полюбила живопись, — женщина живая, энергичная, весь день бегает-бегает, еле к обеду поспевает.

— Ну а ночью, почему же она ночью не может вам эти самые припарки и все такое?

Отекшее лицо не то усмехнулось, не то сморщилось:

— Ну что вы, дорогая, говорите, как ребенок. Женщина целый день бегает, ей ночью спать надо. Женщина сильная, здоровая, ей спать надо, а я по двадцать раз в ночь лампу зажигаю. Она ездит ночевать к брату в Сен-Клу.

— Ночевать в Сен-Клу? Почему в Сен-Клу?

Голос у Дуси задрожал и сорвался.

— Ей воздуху нужно, а я сквозняков боюсь и всю квартиру мазями продушил. Она женщина здоровая, сильная, ей нужен воздух и здоровый сон. Так вот, ока-

зывается, что пока я болен, ей здесь абсолютно не годится сидеть.

Он пристально посмотрел на дусино лицо, вдруг словно похудевшее, на непривычно тихие глаза, на удивленно приоткрытый рот.

— Да, деточка, — вздохнул он. — Жизнь не роман. Жизнь требует мудрого расчета и благоразумия. Иначе мы бы с вами натворили ерунды. Хорошо, что у меня голова трезвая. Что же вы молчите?

ДВА ДНЕВНИКА

Как интересны бывают порою человеческие документы! Я говорю, конечно, не о карт д-идантитэ, не о паспортах или визах. Я имею в виду документы, свидетельствующие о внутренней, никому не известной жизни человека, о дневнике, который он вел для себя самого и тщательно от других прятал.

Письма никогда очень точно не свидетельствуют о человеческой личности, ибо каждое письмо пишется с определенной целью. Нужно, скажем, разжалобить благодетеля или поставить на место просящего, или выразить соболезнование, что, как и поздравление, всегда изображается в преувеличенных тонах. Бывают письма изысканно-литературные, бывают и кокетливые, да и каких только не бывает. И все они рассчитаны специально на то или иное впечатление.

Тайный дневник — дело другое. Там почти все верно и искренно. Но именно в дневнике тайном, не предназначенном для обнародования, а, наоборот, всячески этого обнародования боящемся. Ну, можно ли считать очень достоверным документом дневники Толстого, когда мы знаем, что Софья Андреевна просила его кое-что смягчить и вычеркнуть?

Тайный дневник редко попадает в чужие руки. Но

вот мне повезло. Мне так повезло, что и поверить трудно: у меня в руках не один дневник, а два. Принадлежат они супругам Кашеневым, Петру Евдокимычу и Марье Николаевне. Охватывают они, дневники эти, один и тот-же период времени, самый, вероятно, в их супружеской жизни яркий. И вот, сопоставляя по датам записи этих двух дневников, вы получаете такую удивительную картину, что иногда прямо крикнуть хочется: «Да, чорт тебя подери, балда несчастный, где же твои глаза?» И многое другое еще хочется крикнуть, но в ретроспективных возгласах этих, конечно, смысла было бы мало.

Итак, предлагаю вниманию читателей оба дневника, подобранные по датам.

Конечно, не все записи приведены мною неукоснительно. Я взяла на себя смелость пропустить:

«5-го сентября. Купила на распродаже в Мезон де Блан белый воротник за 30 франков. Оказался гадость, на коровью шею».

Это из дневника Марьи Николаевны. Из дневника Петра Евдокимыча:

«2-го октября. Опять натер ногу там, где кривой палец».

Много записей в этом роде, как не составляющие звена общей цепи, пропущены мною сознательно.

Ну, вот:

Из дневника Марьи Николаевны Кашеневой.

1-го ноября.

Я думаю, что никогда не забуду вчерашнего вечера. Не забудут его и те, которые меня вчера видели. Никогда еще не была я так хороша собой и так оживлена. Мои глаза сверкали, как бриллианты. На мне было зеленое

платье, так эффектно выделявшее мрамор плеч и алебастр спины. Мой ханжа, конечно, злился. Ему завидно, что он не может выкатить своих плеч. То-то была бы картина!

Сергей не сводил с меня безумных глаз. Чтобы отвести подозрение ханжи, я кокетничала с болваном Гожкиным. Я была дивно хороша. Я была, как вакханка. Я подбежала к роялю и спела «Люблю тебя и жажду ласк твоих». Я спела чудесно. Лучшее доказательство, что Петрова и Кужина сейчас же уехали, а ханжа скосил на меня бешеные глаза. Сергей Запакин был бледен, как полотно.

Воображаю, как злятся Петрова и Кужина. Да, милые, тягаться со мной трудно. А Кужина еще напялила на себя бирюзовый казак! Ну и дура!

Ханжа, конечно, закатил сцену. А я хохотала.

Из дневника Петра Евдокимыча Кашенева

1-го ноября.

Скандал, каких мало! Эта дурища неожиданно запела! Это был такой срам, о котором по гроб жизни вспомнить будет стыдно. Семнадцать лет женат и никогда не думал, что у нее такой скверный голос. И при этом так непристойно фальшиво аккомпанировала. Я от стыда не знал, куда глаза девать. Милый мальчик, Сергей Запакин, видимо, страдал за меня ужасно. А Гожкин (очевидно, для него все это и делалось!) самым наглым образом «благодарил за доставленное удовольствие».

Какой все это ужас!

Петрова и Кужина, дамочки не Бог весть какой марки, а и те не выдержали, вскочили и уехали.

Прожили вместе семнадцать лет, много пришлось тер-

петь всякого безобразия, но что она на восемнадцатом году запоет — этого я предвидеть не мог. Никак не мог. Здесь воображение — пасс.

После ухода гостей, конечно, разыгралась безобразная сцена. Она нагло хохотала, а я кричал, как страдалец, и даже разбил молочник.

Из дневника Марьи Николаевны.

6-го ноября.

Завтра мое рожденье. Я сказала об этом Сергею. В этот радостный день я должна быть с ним вместе.

Он почему-то задумался. Чтобы ханжа не заподозрил чего-нибудь, позвала на завтра и Гожкина.

Из дневника Петра Евдокимыча.

6-го ноября.

Какие еще бывают на свете милые люди! Вчера Сергей Запакин был почему-то очень озабочен. Я это ему заметил. И тут бедный мальчик со слезами на глазах признался, что у него в Бельгии проживает старушка-мать, которую он по мере сил поддерживает. И вот теперь необходимо послать ей двести франков, а он сейчас такой суммой не располагает, и это ужасно его мучает. Я, конечно, тотчас же предложил ему эту небольшую сумму. Трогательно было видеть его благодарность.

Из дневника Марьи Николаевны.

8-го ноября.

Вчера утром позвонил Сергей. «Я хотел первым поздравить вас. Простите за мой скромный дар — я послал вам несколько хризантем».

Через час приносят мне огромную корзину дивных

золотых хризантем. Такая корзина должна стоить не меньше двухсот франков.

Ханжа ходит и все шарит — нет ли в цветах визитной карточки. Потом сказал: «Я все равно знаю, что это от Гожкина. Ваши хитрости его не спасут. Я его сегодня же спущу с лестницы».

Из дневника Петра Евдокимыча.

8-го ноября.

Спокойствие, спокойствие и спокойствие. Выслежу и прикончу Гожкина.

Из дневника Марьи Николаевны.

20-го ноября.

Я сказала Сергею: «Меня истомила эта двойственность. Я хочу быть с тобою, в твоих объятиях, неразлучно всю жизнь, вечность». «Вечность? — повторил он. — Зачем же так мрачно. Мы можем поехать на два дня в Сен-Жермен. Придумай что нибудь».

Я сказала ханже, что Лиза Хрябина приглашает меня дня на два к ним в Сен-Клу. Телефона у нее нет, так что проверить нельзя, а сам он туда не нагрянет, так как Лизу прямо видеть не может.

Из дневника Петра Евдокимыча.

20-го ноября.

Был сегодня Сергей Запакин. Пришел посидеть ко мне в кабинет. Он опять очень озабоченный. Я сразу понял, в чем дело. «Что, говорю, опять ваша милая старушка наделала вам хлопот?» Он немножко покраснел. «Почему, говорит, вы так...» Но я его урезонил. «Зачем, говорю, передо мной то скрываться?» Он еще больше

растерялся, и я уже прямо: «Наверное вам нужны деньги для вашей матушки?» Тут уж он даже засмеялся, так был тронут моей догадливостью. Я ссудил ему четыреста. Такой человек в наше время редкость.

21-го ноября.

Моя дура выразила непременное желание поехать к другой дуре, в Сен-Клу. У них, изволите ли видеть, нервы разгулялись. Знаем мы эти нервы. Я ей на это самым невинным голосом: «Поезжай, дорогая моя. А я попрошу Андрея Иваныча Гожкина приходить ко мне завтракать и обедать, а то одному скучно». А она в ответ разразилась самым неестественным смехом. И именно этим смехом и выдала себя. Хотела скрыть свою досаду, а вместо того ненатуральностью своего поведения только ее подчеркнула. Пусть теперь посидит в Сен-Клу. Нарочно не буду ее торопить и советовать посидеть подольше. Ха-ха!

Из дневника Марьи Николаевны.

2-го февраля.

Как странно ведет себя мой ханжа. У него какая-то болезненная любовь к Гожкину. Он буквально с ним не расстается. Чуть завидит, тащит сейчас к себе в кабинет, то покурить, то в шахматы поиграть. С другой стороны, всячески старается, чтобы Сергей был около меня. Просит его провожать меня в театр, в кино, даже в гости. Все это очень странно. Не думает ли он застать нас врасплох? Недавно ездил на два дня в Руан и Гожкина повез с собой. «Вы, говорит, никогда там не были, вы человек молодой, вам надо развиваться». И повез. Это прямо становится неприличным. А тот и рад на даровщинку.

Из дневника Петра Евдокимыча.

2-го февраля.

Сергей Запакин милый малый, но я нахожу, что его старушенция немножко того. Мне его старушенция начинает надоедать. То ей к празднику, то на доктора, то на зимнее пальто. И как-то уж вошло в обычай, что я помогаю... Но все-таки это с его стороны трогательно. Этот сухарь Гожкин небось о старушках не думает. А у Запакина только и мыслей, что о своей старушенции. Редкий молодой человек.

Из дневника Марьи Николаевны.

20-го июня. Виши.

Прямо не знаю, чем это объяснить. Сергей на письма не отвечает. Обещал приехать — не едет. Ханжа совсем одурел. Ездил весной со своим Гожкиным на Корсику, теперь сидит с ним в Париже и тоже на письма не отвечает. Я прямо сойду с ума. Но что с Сергеем?

Из дневника Петра Евдокимыча.

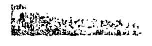
25-го июня.

До чего мне опротивела рожа этого идиота Гожкина! Каждый день обедает и сидит весь вечер. А отпустить нельзя — удерет в Виши. На даровых хлебах разъелся, как боров, и храпит в кресле. Салом его заливает. И что она в нем нашла?

26-го июня.

Событие. Пришел Запакин безумно взволнованный. Оказывается, нужно старуху оперировать и немедленно. Говорит, а у самого слезы на глазах и губы трясутся. «Это, говорит, последний раз, что я прибегаю к вашей помощи. Я через две недели женюсь на особе очень со-

стоятельной, но это пока секрет». Ну, я поздравил и дал на операцию. «Напишите, говорю, как она перенесет и не очень ли будет страдать». Он обещал.



Из дневника Марьи Николаевны.

28-го июня.

Боже мой, что я пережила! Вчера приехал Сергей. Все кончено. Он женится.

Из дневника Петра Евдокимыча.

1-го июля.

Получил телеграмму от своего Сереженьки Запакина. «Перенесла хорошо, страдала не сильно, умерла на веки». Странная телеграмма. Не пришлось бы посылать денег на похороны.

2-го июля.

Ага! Телеграмма от благоверной: «В ужасном состоянии, если не можешь приехать сам, пришли Гожкина».

Ага! Дождался! Завопила, подлая. Подавай Гожкина! Ну, теперь мы с тобой побеседуем. Вечером выезжаю.

КОШМАР

Кошмар продолжался четыре года.

Четыре года несчастная Вера Сергеевна не знала покоя ни днем, ни ночью. Дни и ночи думала она о том, что счастье ее висит на волоске, что не сегодня-завтра эта наглая девка Элиза Герц отберет от нее окончательно околдованного Николая Андреевича.

Эта несчастная Вера Сергеевна боролась за свое сердце и за свой очаг всеми средствами, какие только может дать современность в руки рассудительной и энергичной женщины. Она писала сама себе анонимные письма, которые потом с негодованием показывала своему преступному мужу. Она постоянно твердила ему о необычайном уме их гениального мальчика и подчеркивала, как важны для воспитания такого избранного существа твердые семейные устои. Она создавала домашний комфорт и уют, устраивала интересные вечера, на которые созывала выдающихся людей. Она занималась своей внешностью, делала гимнастику, массировалась, старательно выбирала туалеты, делала все, что могла, чтобы быть в глазах мужа молодой, умной и красивой. Никогда, даже в первые годы супружеской жизни, не была она так в него влюблена, как в эти несчастные четыре года «кошмара».

И действительно, если Николай Андреевич мог кому нибудь нравиться, так именно в эти четыре года. Он сделался элегантным, каким то подвинченным, загадочным, то бурно-веселым, то непредвиденно меланхоличным, декламировал стихи, делал жене подарки и даже отпускал ей комплименты, положим, большею частью, когда торопился уйти из дому и боялся, что его задержат.

— Милочка, как ты интересна сегодня, — рассеянно бормотал он, целуя ее в лоб, — носи всегда это платье.

Или:

— У тебя сегодня прием? Я безумно жалею, что не смогу прийти. Но я пришлю тебе корзину цветов. Пусть все видят, что я еще влюблен в свою кошечку.

От него всегда пахло волнующими духами, хотя он не душился. Он всегда что то напевал, он приносил с собой какой-то воздух влюбленности, от которого все начинали беспокойно улыбаться, лукаво поглядывать и говорить на любовные темы.

Раз в год Элиза Герц давала свой концерт. Вера Сергеевна заказывала к этому вечеру великолепный туалет, собирала друзей к обеду и потом приглашала их к себе в ложу. Николай Андреевич сидел отдельно в партере и она следила в бинокль за выражением его лица.

Николай Андреевич был, действительно, околдован Элизой Герц. Его спокойная, расчетливая купеческая натура не сливалась с чуждой для него средой Элизы, но как бы плавала в ней, ныряла и фыркала от удовольствия. Его удивлял и умилял весь этот элегантный сброд, эти вылощенные дэнди с бурчащими от голода животами, эти томные модницы с наклеенными ресницами, у которых всегда оказывались вещи задержанными в отеле за неплатеж. Эти завтраки в пять часов вечера, обеды в час

ночи, неожиданные танцы, вся сложность и запутанность взаимоотношений этих странных и очаровательных людей. И самая странная и самая очаровательная из них — она, непонятная, до конца неузнанная, мучащая и себя и других, талантливая, яркая, бог, чорт, змея — Элиза Герц.

За все четыре года ни одного дня не был он спокоен и уверен за завтрашний день. Он никогда в ней ничего не понимал.

Однажды она вернула ему посланный ей дорогой браслет, набросав карандашом на клочке бумаги: «Не ожидала подобного хамства. Мне стыдно за вас». И он, растерянный и униженный, два дня не смел показаться ей на глаза и ломал себе голову — почему она так оскорбилась, когда всего три дня тому назад он дал ей двадцать тысяч и она совершенно спокойно сунула их в свою сумочку и даже зевнула при этом.

В другой раз, получив от него корзинку апельсин, она стала перед ним на колени и сказала, что в этом его поступке было столько девственной красоты, что она все утро проплакала слезами восторга, а из апельсинов велела сварить компот.

И никогда не знал он, что его ждет. И часто оскорбленный и униженный возвращался он домой и искал утешения в преданности Веры Сергеевны.

— Веруся, ты ангел, а я свинья, — говорил он. — Но ведь и свинья может требовать доли уважения и ласки. Обними меня, скажи, — ведь наш Володя замечательный мальчик? Я хочу жить для тебя и для него. Только. Заметь — только!

Иногда он забегал домой всего на минутку, метеором,

метеором, который сверкал радостью и напевал на мотив из оперетки:

— До-свиданья, Веруся. Живу тобой. Не задерживал — меня ждут скучные дела. Тра-ла-ла! Скучные, тра-ла-ла! Дела-ла-ла!

И удирал.

Кончился кошмар совершенно неожиданно...

Элиза давно толковала об ангажементе в Аргентину. Николай Андреевич привык к этим разговорам и не придавал им особого значения. Иногда ему приходилось даже подписывать чеки для каких-то посредников, но ему часто приходилось выдавать деньги на самые непонятные нужды — на какую то рекламу (чего — неизвестно), на погашение долга по концерту, который, полагалось, должен был дать доход, и т. д. Так что он особого значения этим посредникам не придавал. И вдруг оказалось, что аргентинская гастроль вовсе не мираж, а самый настоящий факт, и что нужно только выхлопотать паспорт и сейчас же отправляться. Разлука предполагалась на полгода и особенно Николая Андреевича не взволновала.

— Отдохну, отосплюсь и поправлю делишки, — бодрил он себя.

Ездили провожать целой компанией в Марсель. Было шумно, угарно и даже весело.

Долгое время Николай Андреевич не мог оторваться от Элизиной жизни. Ездил по ресторанам с ее подругой Милушей, чтобы говорить о ней, кое о чем выпытывать, кое что проверять задним числом.

Потом Милуша надоела. Она была и глупа и некрасива, и носила старые Элизины платья. И все, что говорила она о своей приятельнице, как-то опрощало Элизу,

делало ее понятной, лишало тревоги и загадочности.

Он скоро бросил Милушу.

Потом пришло письмо от Элизы с просьбой о деньгах и рассказами о бурном успехе.

Он тотчас же послал требуемую сумму с восторгом.

Через пять месяцев пришло второе требование.

Он исполнил и его тоже, но уже без восторга.

От письма ее пахло какими-то новыми духами, вроде ладана. Очень противными.

Стало скучно. Сразу сказалась усталость от бессонных ночей, кутежей и тревог последнего года. Потянуло спокойно пошлепать пасс'янс, поворчать на жену и завалиться в десять часов в постель.

Вера Сергеевна отнеслась сначала с восторгом к счастливой перемене жизни. Потом ее стало беспокоить, что ветреный супруг, предоставлявший ей всегда полную свободу, вдруг так прочно засел дома и выразил столько негодования, когда она раза два, увлекшись бриджем, поздно вернулась. Она почувствовала некоторое неудобство и даже скуку от такого его поведения.

— Ну, это должно быть не надолго, — утешала она себя. — Скоро вернется эта негодяйка, и все пойдет по-старому.

Но по-старому дело не пошло.

Николай Андреевич получил новое требование из Аргентины, на которое ехидно ответил телеграммой: «Получите при личном свидании», на что пришел ответ, тоже телеграфный, в одно слово, латинскими буквами, но чисто русское: «Мерзавец».

Вера Сергеевна, которая по праву невинной страдалицы часто рылась в письменном столе неверного своего мужа и для этой цели даже очень ловко приспособила,

в качестве отмычки, крючок для застегивания башмаков, прочла эту телеграмму с двойным чувством — тоски и восторга.

Восторг пел: — кончен копмар.

Тоска ныла: — что-то будет?

И тоска была права.

Очаровательный и нежный Николай Андреевич выскочил всклокоченным вепрем из кабинета со счетами в руках и задал бедной страдалице такую встрепку за платье от Шанель и шляпку от Деска, что она горько пожалела о тяжелых годах копмара.

А тут новое несчастье: «гениальный мальчик» оказался болваном и грубианом. Он в третий раз провалился на первом бато, и когда отец резонно назвал его идиотом, молодой отпрыск, вытянув хоботом верхнюю губу, отчетливо выговорил:

— Идиот? Очевидно по закону наследственности.

И тут родители с ужасом заметили, что у него отвислые уши, низенький лоб и грязная шея, и что вообще им гордиться нечем, а драть его уже поздно, и Вера Сергеевна упрекала мужа за то, что тот забросил ребенка, а муж упрекал ее за то, что она слишком с ним няньчилась. И все было скучно и скверно.

При таком настроении, нечего было и думать о поддержании прежнего образа жизни. Уж какие там приемы изысканных гостей. Кроме всего прочего, Николай Андреевич стал придирчив и скуп. Вечно торчал дома и всюду совал нос. Дошло до того, что когда Вера Сергеевна купила к обеду кусочек балыка, он при прислуге назвал ее шельмой, словом, как будто к данному случаю даже неподходящим, но тем не менее очень обидным и грубым.

Так все и пошло.

Пробовал было Николай Андреевич встряхнуться. Повез обедать молоденькую балерину. Но так было с ней скучно, что потом, когда она стала трезвонить к нему каждый день по телефону, он посылал саму Веру Сергеевну с просьбой осадить ее холодным тоном.

Вера Сергеевна перестала наряжаться и заниматься собой. Быстро расползлась и постарела.

Она часто горько задумывалась и вздыхала:

— Да! Еще так недавно была я женщиной, жила полной жизнью, любила, ревновала, искала забвения в вихре света.

— Как скучно стало в Париже, — говорила она. — Совсем не то настроение. Все какое-то погасшее, унылое.

— Это верно вследствие кризиса, — объяснили ей.

Она недоверчиво качала головой и как-то раз, бледнея и краснея, спросила полковника Ерошина — старого забулдыгу, приятеля Николая Андреевича:

— А скажите, вы не знаете, отчего не возвращается из Америки эта певичка Элиза Герц?

— А Бог ее знает, — равнодушно отвечал полковник, — может быть не на что.

— А вы не находите, что следовало бы послать ей денег на дорогу? — еще более волнуясь, сказала она. — Вы бы поговорили об этом с мужем. А?

О ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ

Днем шел дождь. В саду сыро.

Сидим на террасе, смотрим, как переливаются далеко на горизонте огоньки Сен-Жермена и Вирофле. Эта даль отсюда, с нашей высокой лесной горы, кажется океаном, и мы различаем фонарики мола, вспышки маяка, сигнальные светы кораблей. Иллюзия полная.

Тихо.

Через открытые двери салона слушаем последние тоскливо-страстные аккорды «Умирающего Лебедя», которые из какой-то нездешней страны принес нам «радио».

И снова тихо.

Сидим в полутьме, красным глазком подымается, вспыхивает огонек сигары.

— Что же мы молчим, словно Рокфеллер, переваривающий свой обед. Мы ведь не поставили рекорда дожить до ста лет, — сказал в полутьме баритон.

— А Рокфеллер молчит?

— Молчит полчаса после завтрака и полчаса после обеда. Начал молчать в сорок лет. Теперь ему девяносто три. И всегда приглашает гостей к обеду.

— Ну, а как-же они?

— Тоже молчат.

— Эдакое дурачье!

— Почему?

— Потому что надеются. Если бы бедный человек вздумал молчать для пищеварения, все бы решили, что с таким дураком и знакомства водить нельзя. А кормит он их наверное какой-нибудь гигиенической морковкой?

— Ну, конечно. Причем жует каждый кусок не меньше шестидесяти раз.

— Эдакий нахал!

— Поговорим лучше о чем-нибудь аппетитном. Петроний, расскажите нам какое-нибудь ваше приключение.

Сигара вспыхнула, и тот, кого здесь прозвали Петронием за гетры и галстуки в тон костюма, процедил ленивым голосом:

— Ну что-ж — извольте. О чем?

— Что-нибудь о вечной любви, — звонко сказал женский голос. — Вы когда-нибудь встречали вечную любовь?

— Ну, конечно. Только такую и встречал. Попадались все исключительно вечные.

— Да что вы! Неужели? Расскажите хоть один случай.

— Один случай? Их такое множество, что прямо выбрать трудно.

— И все вечные?

— Все вечные. Ну вот, например, могу вам рассказать одно маленькое вагонное приключение. Дело было, конечно, давно. О тех, которые были недавно, рассказывать не принято. Так вот, было это во времена доисторические, то есть до войны. Ехал я из Харькова в Моск-

ву. Ехать долго, скучно, но человек я добрый, пожалела меня судьба и послала на маленькой станции прехорошенькую спутницу. Смотрю — строгая, на меня не глядит, читает книжку, конфетки грызет. Ну, в конце концов, все-таки разговорились. Очень, действительно, строгая оказалась дама. Чуть не с первой фразы объявила мне, что любит своего мужа вечной любовью, до гроба, аминь.

Ну что-же, думаю, это знак хороший. Представьте себе, что вы в джунглях встречаете тигра. Вы дрогнули и усумнились в своем охотничьем искусстве и в своих силах. И вдруг тигр поджал хвост, залез за куст и глаза зажмурил. Значит струсил. Ясно. Так вот эта любовь до гроба и была тем кустом, за который моя дама сразу же спряталась.

Ну, раз боится, нужно действовать осторожно.

— Да, говорю, сударыня, верю и преклоняюсь. И для чего, скажите, нам жить, если не верить в вечную любовь? И какой ужас непостоянство в любви. Сегодня романчик с одной, завтра — с другой, уж не говоря о том, что это безнравственно, но прямо даже неприятно. Столько хлопот, передряг. То имя перепутаешь — а ведь они обидчивые все, эти «предметы любви». Назови нечаянно Манечку Сонечкой, так ведь такая начнется история, что жизни не рад будешь. Точно имя Софья хуже, чем Марья. А то адреса перепутаешь и благодаришь за восторги любви какую-нибудь дуру, которую два месяца не видел, а «новенькая» получает письмо, в котором говорится в сдержанных тонах о том, что, к сожалению, прошлого не вернуть. И вообще, все это ужасно, хотя я, мол, знаю, конечно, обо всем этом только по

наслышке, так как сам способен только на вечную любовь, а вечная пока что еще не подвернулась.

Дама моя слушает, даже рот открыла. Прямо прелесть, что за дама. Совсем приручилась, даже стала говорить «мы с вами».

— Мы с вами понимаем, мы с вами верим.

Ну и я, конечно, «мы с вами», но все в самых почтительных тонах, глаза опущены, в голосе тихая нежность, словом, «работаю шестым номером».

К двенадцати часам перешел уже на номер восьмой, предложил вместе позавтракать.

За завтраком совсем уже подружились. Хотя одна беда — очень уж она много про мужа говорила, все «мой Коля, мой Коля», и никак ее с этой темы не свернешь. Я, конечно, всячески намекал, что он ее не достоин, но очень напирать не смел, потому что это всегда вызывает протесты, а протесты мне были не на руку.

Кстати, о руке — руку я у нее уже целовал вполне беспрепятственно и сколько угодно, и как угодно.

И вот подъезжаем мы к Туле и вдруг меня осенило:

— Слушайте, дорогая! Вылезем скорее, останемся до следующего поезда! Умоляю! Скорее!

Она растерялась.

— А что же мы тут будем делать?

— Как — что делать? — кричу я, весь в порыве вдохновения. — Поедем на могилу Толстого. Да, да! Священная обязанность каждого культурного человека.

— Эй, носильщик!

Она еще больше растерялась.

— Так вы говорите... культурная обязанность... священного человека...

А сама тащит с полки картонку.

Только успели выскочить, поезд тронулся.

— Как же Коля? Ведь он же встречать выедет.

— А Коле, говорю, мы пошлем телеграмму, что вы приедете с ночным поездом.

— А вдруг он...

— Ну есть о чем толковать! Он еще вас благодарить должен за такой красивый жест. Посетить могилу великого старца в дни общего безверия и ниспровержения столпов.

Посадил свою даму в буфете, пошел нанимать извозчика. Попросил носильщика договорить какого-нибудь получше лихача, что-ли, чтоб приятно было прокатиться.

Носильщик ухмыльнулся.

— Понимаем, — говорит. — Потрафить можно.

И так бестия потрафил, что я даже ахнул: тройку с бубенцами, точно на масляницу.

Ну что-ж, тем лучше.

Поехали.

Проехали Козлову Засеку, я ямщику говорю:

— Может, лучше бубенчики то ваши подвязать? Неловко как-то с таким трезвоном. Все-таки ведь на могилу едем.

А он и ухом не ведет.

— Это, говорит, у нас без внимания. Запрету нет и наказу нет, кто как может, так и ездит.

Посмотрели на могилу, почитали на ограде надписи поклонников:

«Были Толя и Мура», «Были Сашка-Канашка и Абраша из Ростова». «Люблю Марью Сергеевну Абиносову, Евгений Лукин». «М. Д. и К. В. разбили харю Кузьме Вострухину».

Ну, и разные рисунки — сердце, пронзенное стрелой, рожа с рогами, вензеля. Словом, почтили могилу великого писателя.

Мы посмотрели, обошли кругом и помчались назад.

До поезда было еще долго, не сидеть же на вокзале. Поехали в ресторан, я спросил отдельный кабинет — «ну к чему, говорю, нам показываться. Еще встретим знакомых, каких-нибудь недоразвившихся пошляков, не понимающих культурных запросов духа».

Провели время чудесно. А когда настала пора ехать на вокзал, дамочка моя говорит:

— На меня это паломничество произвело такое неизгладимое впечатление, что я непременно повторю его, и чем скорее, тем лучше.

— Дорогая! — закричал я. — Именно — чем скорее, тем лучше. Останемся до завтра, утром съездим в Ясную Поляну, а там и на поезд.

— А муж?

— А муж останется как таковой. Раз вы его любите вечной любовью, так не все-ли равно? Ведь это же чувство непоколебимое.

— И, по вашему, не надо Коле ничего говорить?

— Коле-то? Разумеется, Коле мы ничего не скажем. Зачем его беспокоить.

Рассказчик замолчал.

— Ну и что-же дальше? — спросил женский голос.

Рассказчик вздохнул.

— Ездили на могилу Толстого три дня подряд. Потом я пошел на почту и сам себе послал срочную телеграмму:

«Владимир. возвращайся немедленно».

Подпись: «Жена».

— Поверила?

— Поверила. Очень сердилась Но я сказал: «Дорогая, кто лучше нас с тобой может оценить вечную любовь? Вот жена моя как раз любит меня вечною любовью. Будем уважать ее чувство». Вот и все.

— Пора спать, господа, — сказал кто-то.

— Нет, пусть еще кто-нибудь расскажет. Мадам Г-ч, может-быть вы что-нибудь знаете?

— Я? О вечной любви? Знаю маленькую историю. Совсем коротенькую. Был у меня на ферме голубь и попросила я слугу моего, поляка, привести для голубя голубку из Польши Он привез. Вывела голубка птенчиков и улетела. Ее поймали. Она снова улетела — видно, тосковала по родине. Бросила своего голубя.

— Tout comme chez nous, — вставил кто-то из слушателей.

— Бросила голубя и двух птенцов. Голубь стал сам греть их Но было холодно, зима, а крылья у голубя короче чем у голубки. Птенцы замерзли. Мы их выкинули. А голубь десять дней корму не ел, ослабел, упал с шеста Утром нашли его на полу мертвым. Вот и все.

— Вот и все? Ну, пойдемте спать.

— Н-да, — сказал кто-то зевая. — Это птица — насекомое, то-есть, я хотел сказать — низшее животное Она же не может рассуждать и живет низшими инстинктами. Какими-то там рефлексами. Их теперь ученые изучают, эти рефлексы, и будут всех лечить, и никакой любовной тоски, умирающих лебедей и безумных голубей не будет Будут все, как Рокфеллеры, жевать шестьдесят раз, молчать и жить до ста лет. Правда — чудесно?

ЖЕНИХ

По вечерам, возвратясь со службы Бульбезов любил позаняться.

Занятие у него было особое: он писал обличающие письма либо в редакцию какой-нибудь газеты, либо прямо самому автору неугодившей ему статьи.

Писал грозно.

«Милостивый Государь!

Имел вчера неудовольствие прочесть вашу очередную брехню. В вашем «историческом» очерке вы пишете: «От слов Дантона словно электрический ток пробежал по собранию».

Спешу довести до вашего сведения, что во время французской революции электричество еще не было открыто, так что электрический ток никак не мог пробежать. Это не мешало бы вам знать, раз вы имеете дерзость и самомнение браться за перо и всех поучать.

Илья Б—».

Или такое:

«Милостивый государь, господин редактор!

Обратите внимание на статьи вашего научного обозревателя. В номере шестьдесят втором вашей уважаемой газеты сей развязный субъект со свойственной ему беззастенчивостью рассуждает о разуме муравья. Но

где же в таком случае у муравья череп? Я лично такового не видал, хотя и приходилось жить в деревне. Все это противоречит здравому смыслу.

Читатель, но не почитатель

Илья Б—».

Доставалось от него не только современным писателям, но и классикам.

«Милостивый государь, господин редактор, — писал он. — Разрешите через посредство вашей уважаемой газеты обратить внимание общественного мнения на писания прославленного Льва Толстого. В своем сочинении «Война и Мир», во второй части, в главе четвертой, знаменитый граф пишет:

«Алпатыч, приехав вечером 4-го августа в Смоленск, остановился за Днепром в Гаченском предместьи на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов **тридцать лет тому назад**, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный, **сорокалетний** мужик, с толстыми губами и т. д.».

Итак — заметьте: сорокалетний мужик тридцать лет тому назад купил рощу и начал торговать. Значит, мужику было тогда ровно десять лет. Считаю это клеветой на русский народ. И почему, если это выдумал граф Толстой, то все должны преклоняться, а если так напишет какой-нибудь неграф и нелев, так его и печатать не станут.

Это не демократично.

И. Б.».

Письма эти тщательно переписывались, причем копию Бульбезов оставлял себе, нумеровал и прятал.

К занятиям своим относился он очень серьезно и никогда не позволял себе потратить вечер на синема или кафэ, как делают это всякие лодыри.

— Пока есть силы работать — работаю.



Как это случилось — неизвестно.

Уж не весна-ли навеяла эти странные мысли?

Впрочем, пожалуй, весна здесь не при чем.

Потому что, если бы весна, то конечно любовался бы Бульбезов на распускающиеся деревья, на целующихся под этими деревьями парочек, на букетики первых фиалок, предлагаемых хриплыми голосами густо налитых красным вином парижских старух. Наконец, из окна его комнаты, если открыть его и перегнуться вправо — можно было увидеть луну, что для влюбленных всегда отрадно. Но Бульбезов окна не открывал и не перегибался. Бульбезову не было до луны буквально никакого дела.

Началось дело не с луны и не с цветов и вообще не с пустяков. Началось дело с оборванной пуговицы на жилетке и продолжилось дело дырой на колене, то есть не на самом колене, а на платье, его обтягивающем и покрывающем. Короче говоря — на штанине.

И кончилось дело решением. Решением — вы думаете пришить да заштопать? Вот, подумаешь, было бы тогда о чем расписывать.

Жениться задумал Бульбезов. Вот что.

И как только задумал, сразу же по прямой нити от

пуговицы дотянулась мысль его до иголки, зацепила мысль руку, держащую эту иголку и уперлась в шею, в Марью Сергеевну Утину.

— Жениться на Утиной.

Молода, мила, приятна, работает, шьет, все пришьет, все зашьет.

И тут Бульбезов даже удивился — как это ему раньше не пришла в голову такая мысль? Ведь если бы он раньше додумался, теперь бы пуговица сидела на месте и сам бы он сидел на месте и не надо было бы тащиться к этой самой Утиной, объясняться в чувствах, а сидела бы эта самая Утина тоже здесь и следила бы любящими глазами, как он работает.

***

Откладывать было бы глупо.

Он переменил воротничек, пригладился, долго и с большим удовольствием рассматривал в зеркало свой крупный щербатый нос, провалившиеся щеки и покрытый гусиной кожей кадык.

Впрочем, ничего не было в этом удовольствии удивительного. Большинство мужчин получают от зеркала очень приятные впечатления. Женщина, та всегда чем то мучается, на что то ропщет, что то поправляет. То подавай ей длинные ресницы, то зачем у нее рот не пуговкой, то надо волосы позолотить. Все чего то хлопочет. Мужчина взглянет, повернется чуть-чуть в профиль — и готов. Доволен. Ни о чем не мечтает и ни о чем не жалеет.

Но не будем отвлекаться.

Полюбовавшись на себя и взяв чистый платок, Буль-

безов решительным шагом направился по Камбронной улице к Вожирару.

Вечерело.

По тротуару толкались прохожие, усталые и озабоченные.

Ажан гнал с улицы старую цветочницу. Острым буравчиком ввинчивался в воздух звонок кинематографа.

Бульбезов свернул за изгнанной цветочницей и купил ветку мимозы.

— С цветами легче наладить разговор.

Винтовая лестница отельчика пахла съедобными запахами, рыбьими, капустными и луковыми. За каждой дверью звякали ложки и брякали тарелки.

— Антре! — ответил на стук голос Марьи Сергеевны.

Когда он вошел, она вскочила, быстро сунула в шкап какую-то чашку и вытерла рот.

— Да вы не стесняйтесь, пожалуйста, я кажется помешал, — светским тоном начал Бульбезов и протянул ей мимозу. — Вот!

Марья Сергеевна взяла цветы, покраснела и стала поправлять волосы. Она была пухленькая, с пушистыми кудерьками, курносенькая, очень приятная.

— Ну к чему это вы! — смущенно пробормотала она и несколько раз метнула на Бульбезова удивленным лукавым глазком. — Садитесь, пожалуйста. Простите, здесь все разбросано. Масса работы. Подождите, я сейчас свет зажгу.

Бульбезов, совсем уж было наладивший комплимент («Вы, знаете-ли, так прелестны, что вот не утерпел и прибежал»), вдруг насторожился.

— Как это вы изволили выразиться? Что это вы сказали?

— Я? — удивилась Марья Сергеевна. — Я сказала, что сейчас свет зажгу. А что?

И, подойдя к двери, повернула выключатель от верхней лампы. Повернула и, залитая светом, кокетливо подняла голову.

— Виноват, — сухо сказал Бульбезов. — Я думал, что ослышался, но вы снова и, повидимому, вполне сознательно повторили ту-же нелепость.

— Что? — растерялась Марья Сергеевна.

— Вы сказали «я зажгу свет». Как можно, хотел бы я знат , зажечь свет? Вы можете зажечь лампу, свечу, наконец спичку. И тогда будет свет. Но как вы будете зажигать свет? Поднесете к огню зажженную спичку, что ли? Ха-ха! Нет, это мне нравится! Зажечь свет!

— Ну чего вы привязались? — обиженно надув губы, проворчала Марья Сергеевна. — Все так говорят и никто никогда не удивлялся.

Бульбезов от негодования встал во весь рост и выпрямился. И, выпрямившись, оказался головой на уровне прикрепленного над умывальником зеркала, в котором и отразилось его пламенеющее негодованием лицо.

На секунду он приостановился, заинтересованный этой великолепной картиной. Посмотрел прямо, посмотрел скосив глаз в профиль, вдохновился и воскликнул:

— «Все говорят»! Какой ужас слышать такую фразу. Или вы действительно считаете осмысленным все, что вы все делаете? Это поражает меня. Скажу больше — это оскорбляет меня. Вы, которую я выбрал и отметил, оказываетесь тесно спаянной со «всеми»! Спасибо. Очень умно то, что вы все делаете! Вы теперь навостри-

ли лыжи на стратосферу. Вам, изволите-ли видеть, нужны какие то собачьи измерения на высоте ста километров. А тут-то вы, на земле, на своей собственной земле — все измерили? Что вы знаете хотя бы об электричестве? Затвердили как попугай «анод и катод, а по середине искра». А знаете вы, что такое катод?

— Да отвяжитесь вы от меня! — визгнула Марья Сергеевна. — Когда я к вам с катодом лезла? Никаких я и не знаю и знать не хочу.

— Вы и вам подобные, — гремел Бульбезов, — стремятся на луну и на Марс. А изучили вы среднее течение Амазонки? Изучили вы центральную Африку с ее непроходимыми дебрями?

— Да на что мне эти дебри? Жила без дебрей и проживу, — кричала в ответ Марья Сергеевна.

— Умеете вы вылечивать туберкулез? Нашли вы бациллу рака? — не слушая ее, неистовствовавл Бульбезов. — Вам нужна стратосфера? Шиш вы получите от вашей стратосферы, свиньи собачьи, неучи!

— Нахал! Скандалист! — надрывалась Марья Сергеевна. — Вон отсюда! Вон! Сейчас консьержку кликну...

— И уйду. И жалею, что пришел. Тля!

Он машинально схватил ветку мимозы, которая так и оставалась на столе, и, согнув пополам, ткнул ее в карман пальто.

— Тля! — повторил он еще раз и, кинув быстрый взгляд в зеркало, пощупал тут ли мимоза, демонстративно повернулся спиной к хозяйке и вышел.

Марья Сергеевна долго смотрела ему вслед и хлопала глазами.

КОШКА ГОСПОДИНА ФУРТЕНАУ

Было это дело в маленьком городке, в Зоннебахе, на церковной площади.

Собственно говоря, Зоннебах был когда то прежде, давно, городком, а потом слился с большим городом и стал как-бы его предместьем, но по духу остался прежним, захолустным, тихим и бедным.

Народ, населявший его, работал большей частью на тех больших горожан, что жили за мостом. Прачки отвозили туда выстиранное белье, учителя, жившие в дешевеньких квартирках Зоннебаха, бегали давать уроки в школы большого города, разные мелкие служащие, чиновники, приказчики, фельдшерицы — уезжали по утрам в трамваях на целый день.

Квартирки в Зоннебахе редко пустовали, особенно маленькіе, и не успели похоронить старую ведьму, занимавшуюся трикотажем без малого сорок лет, как в ее уютные и чистенькие две комнатки с кухней — въехал новый жилец.

Это был высокий худой старик, очень серьезный и почтительный. Поклажу привез за ним артельщик на ручной тележке. Крытый клеенкой диван, кресло, складной столик и большую, обернутую зеленой тряпкой клетку.

Мальчишки, глазевшие на этот переезд, сразу догадались, что в клетке приехала кошка. Догадка в тот же вечер подтвердилась, потому что слышно было, как старик звал кошку и она в ответ мяукала.

— Питти! Питти! Питти! — звал он. — Хочешь молочка?

И кошка отвечала.

— Мау! Мау!

Довольно грубо отвечала. Должно быть, кот, да и не молодой.

Так водворился старичок на новом месте.

Утром, как и все, уезжал в трамвае в город, вечером возвращался, приносил кулечки, хозяйничал, разговаривал с кошкой, и она отвечала «мау».

Сначала соседи, как водится, любопытствовали, спрашивали у сторожихи, кто он, да где служит, и почему никто к нему в праздник не приходит — ко всем, ведь, кто нибудь приезжает, либо родные, либо друзья.

Но сторожиха мало чего могла рассказать. Она вообще в его квартиру была вхожа раз в неделю, по субботам, мыть пол в кухне и стирать кое-какую стариковскую ерунду. В комнаты он ее не пускал, он комнаты любил сам убирать. Аккуратненький был старичок и чистенький, но очень неразговорчивый.

— Прямо какой-то старый дев — определила его сторожиха.

— А служит в ликвидации.

Что такое за «ликвидация», никто не понимал, но раз старичок служит, так и Бог с ним. Служит, значит человек понятный, не вор, не убийца, в свидетели с ним не попадешь, а что молчит, так к этому скоро привыкли. Да и что ему, старому, одинокому, рассказывать? Про

кошку что ли? Но ведь это опять такое дело, что кто животных не любит, тому слушать неинтересно, а кто любит, тому самому хочется про любимое существо рассказать, какая, мол, у меня кошечка нежная и какая собачка преданная и какая курица догадливая. Одним словом, от старикова молчания никому урону не было.

Фамилия старичка была Фуртенау.

Пошли дни за днями, ночи за ночами. Весенние ясные, летние жаркие, зимние холодные, осенние скучные.

Дул ветер, скрипел ржавый петух-флюгер на шпице старой колокольни, плыла луна. Скучно.

К старику привыкли, но вот милая его кошечка не особенно соседям нравилась.

Начать с того, что надоели вечные разговоры.

— Питти! Питти! Питти! Хочешь молочка? Мау! Мау!

Просто надоело. Стали даже думать — хоть бы выдрал он эту кошку, чтобы она как-нибудь иначе поорала.

Потом вышла такая истори: у соседки господина Фуртенау пропал из кухни большой кусок жареной колбасы. Кухня этой соседки приходилась рядом с кухней господина Фуртенау, и ночевавшая в ней соседкина племянница слышала сквозь сон, как-будто кто-то скребется у раскрытого окна. А там из окна Фуртенау к окну соседки вел маленький карнизик, так что кошка свободно могла перебраться и украсть колбасу.

Соседка потужила, потужила и велела племяннице на ночь окно закрывать. Но та как-то раз забыла, а кошка господина Фуртенау не зевала. Живо пронюхала, что путь свободен и уволокла изрядный кусок ветчины.

Тут уж соседка расстроилась и, подкараулив на улице господина Фуртенау, остановила его и сказала, очень, впрочем, вежливо.

— Уважаемый сосед, вы должны непременно закрывать окно своей кухни, потому что кошка у меня уже два раза утащила мясо.

В ответ на это господин Фуртенау почтительно снял шляпу и сказал:

— Благодарю вас, я мяса не покупаю.

И ушел.

«Мясо не покупаю». Он не покупает мяса! Вот оттого его кошка и лезет воровать по чужим кухням.

Совсем дурак старик.

Долго обсуждали этот вопрос.

Потом еще раз пропала копченая рыба, а потом племянница соседки вышла замуж, и жених ее, изрядно выпив на свадьбе, признался, что и жареную колбасу, и ветчину, и копченую рыбу, все это его невеста таскала ему тайком в дровяной сарайчик, куда он залезал с вечера от непреоборимой любви к своей невесте.

— Так вот почему господин Фуртенау поблагодарил, когда ему сказали, что кошка ворует мясо? Он думал, что это его предостерегали от чужой кошки.

Клевета с кошки господина Фуртенау была снята, и соседи стали снисходительнее относиться к надоевшим старииковым «Питти! Питти! Питти!».

Господин Фуртенау занимал квартиру в верхнем этаже. А под ним жил молодой переплетчик, которому раз в неделю приносила белье маленькая голубоглазая прачка Маришка.

Переплетчик был, пожалуй, уже не очень молод, но

жил одиноко. Маришка, сдавая ему белье, очень долго отсчитывала четыре платка, два полотенца и наволочку. Ей почему-то трудно было — подвести эти сложные итоги. И, уходя, она вздыхала.

Он, этот переплетчик, как-то взял ее за руку и сказал с радостным удивлением:

— Господи! Маришка, до чего же у тебя голубые глаза!

Она покраснела и потом целую ночь мучилась — что это значило? Хорошо, что голубые или плохо?

Как то раз он пожаловался ей, что надоело ему слушать беседы старика соседа с кошкой. А Маришка жалобно улыбнулась и сказала:

— А мне так жаль его! Ведь никого у него кроме этой кошки в целом свете нет. Придет домой старенький, усталенький, покличет свою кошечку, а она ответит «мау», подойдет к нему, живая, тепленькая. Он погладит ее, и она приластится. Вот так любят они друг друга и любовь их хранит.

— От чего хранит?

— Не знаю. От страха... Не знаю.

Переплетчик задумался. Потом сказал:

— Ну, пусть старик питтикает. Я больше сердиться не буду.

Когда через неделю она снова пришла со своей корзинкой, он был какой-то мрачный и не стал с ней разговаривать. А еще через неделю, принимая от нее белье, он внимательно посмотрел на нее и сказал:

— Ты похудела, Маришка. Чего ты похудела?

А потом сказал.

— Пора мне заводить теплую кошку, чтобы хранила меня от страха. Маришка, выходи за меня замуж. Так?

Наискосок от старикова дома жил старик газетчик с женой. Она ходила на работу. Копила деньги под старость. Жалела господина Фуртенау.

— Одинокий какой! Все только с кошкой да с кошкой. А поколеет кошка — куда он тогда? Страшно.

У этих стариков тоже никого не было. Даже кошки не было — не любили.

Вот, как то вечером, послушали они, как господин Фуртенау говорит с кошкой, да вдруг старый газетчик и вспомнил:

— А в какой приют отправили твоей племянницы мальчишку, когда она померла? А?

— А что? Думаешь взять? А? Я и сама стала об этом подумывать. А?

Мальчишку разыскали, взяли. Он оказался буян и шалун. То песни пел, то капризничал. Старики на него ворчали, покрикивали, иногда и за уши драли. И за собственной кутерьмой уже и не слышали, как разговаривает со своей кошкой господин Фуртенау.

В подвальчик старикова дома переехали из большого города молодожены-красильщики. Они недавно повенчались, поместили ее старуху-мать в богадельню и вот стали устраиваться и работать. Весь день работали дружно и весело, а вечером отдыхали и, конечно, слышали, как разговаривает господин Фуртенау со своей кошкой. Слушали и затихали и переставали смеяться.

— О чем ты все задумываешься? — спросил как-то жену молодой красильщик.

Она молчала.

— А мне, знаешь, что пришло в голову, — сказал красильщик, — что если передвинуть большой шкап,

так можно было бы устроить в углу постель. Понимаешь?

Она все молчала.

— Для твоей матери.

Она и тут ничего не сказала, только вдруг заплакала, потом засмеялась, и поцеловала мужа.

Старуха перебралась из богадельни в угол за шкапом, ворчала, копошилась, суетилась, заполняла дом старушечьей бестолочью и уже не слышно было, как по вечерам разговаривает господин Фуртенау со своей кошкой

И снова настала осень.

Задул ветер, заскрипел ржавый петух-флюгер на шпице старой колокольни, завертелся, заклевал луну черным носом. Скучно.

Господин Фуртенау засел дома и несколько дней не выходил на улицу. Слышно было только, как он разговаривает со своей кошкой и та отвечает «Мау».

— Чего же он не выходит? Уж не заболел ли?

— Ну, раз с кошкой разговаривает, значит все благополучно.

И вот поднялась в конце недели старожиха, чтобы вымыть старикову кухню. Стучала, стучала, а он не откликался и не отпирал.

Тогда испугались, позвали слесаря, сломали дверь.

Господин Фуртенау сидел в кресле, свесив голову. Доктор потом сказал, что он скончался давно, может быть дней пять тому назад.

А против кресла в большой клетке сидел попугай, старый, страшный, голый, с выщипанными перьями. Увидя вошедших людей, попугай заорал диким голосом:

— «Питти! Питти! Питти! Хочешь молочка? Мау! Мау!».

забрал и свалился с жердочки.

Он умер от истощения.

А кошки, наделавшей стольке удивительных штук на церковной площади городка Зоннебаха, этой кошки у господина Фуртенау вовсе никогда и не было.

ДОН-КИХОТ И ТУРГЕНЕВСКАЯ ДЕВУШКА

Зина была на этот раз как-то особенно мила и ласкова. Она восторгалась ресницами своей приятельницы, ее ногами, ее чулками, ее прической, ее зубами — словно видела ее в первый раз.

— Чего-то ей от меня до смерти нужно, — думала Зоя. — Может быть продулась в карты?

— Ну, а как твой покер? — спросила она, чтобы подвинуть своего друга ближе к цели. — Давно не играла?

— Покер? — переспросила Зина. — Ах, я сейчас так далека от этого всего. Я тебе потом расскажу.

Она чуть-чуть покраснела, засмеялась и замолчала.

— Слушай, Зи, — сказала подруга, — лучше признайся сразу. Новый флирт?

— Хуже! — отвечала Зина и опять покраснела и опять засмеялась. — Хуже... Влюблена.

— Опять что-нибудь новое? — строго спросила Зоя.

— Отчего такой сердитый тон? — обиделась Зина. — Ты осуждаешь меня, Зо? Ты не имеешь права осуждать меня, Зо. Если бы у тебя был такой муж, как у меня, ты бы давно от него сбежала.

— Ну, что ты болтаешь! — возмутилась Зоя. —

Твой Вася идеальнейшее существо. Умный, добрый, внимательный. И у него такая приятная внешность.

— Дарю его тебе со всеми достоинствами. Слышишь? А я больше не могу. Я задыхаюсь...

— Ничего не понимаю, — недоумевала Зоя. — Отчего ты задыхаешься?

— Именно от его достоинств. Муж должен быть, прежде всего, товарищ, с которым можно обо всем просто и весело говорить, который понимает и флиртик, и анекдотик, и всякую милую ерунду. А, ведь, этот идиотский Дон-Кихот, если бы я ему рассказала что-нибудь не очень почтенное, да он бы глаза вылупил и его тут же кондрашка бы хватил. Я ему не друг, я ему не жена, я для него какая-то уважаемая тетка, которую он не смеет даже в какое-нибудь голое «Ревю» повести. Ну, раз не смеешь, так я пойду с другими, которые смеют.

Зоя хлопала глазами.

— Как все это странно! Между прочим, это, вероятно, очень приятно, когда тебя уважают.

— Это только так кажется, потому что ты этого не испытала.

Зоя поджала губы.

— Надеюсь, ты не так глупа, чтобы обидеться на мои слова, — продолжала Зина. — Скажи слава Богу, что тебя никто не уважал. Это ужасная вещь — близкий человек, который тебя уважает. Это... Это прямо свинство! Я молода, я люблю смех, шутку. Ты знаешь, этот болван боится, как бы мне не попала в руки какая-нибудь «пошлая» книжонка. Он воображает, что я буду страшно шокирована. Прямо не знаю, почему он вбил себе в голову, что я святая недотрога.

— А ты бы объяснила ему его заблуждение

— Ну зачем же разбивать иллюзии? Если он счастлив, что ему попалась жена по его вкусу — зачем же портить ему жизнь? Гораздо проще устраивать свою частную жизнь по своему вкусу и просить своего милого друга Зо придти на помощь. А?

— Я так и знала, что все к этому сведется. То-то ты сегодня такая ласковая. Что же тебе нужно?

Зина поежилась, облизнулась, придвинулась поближе к Зое и шопотком попросила:

— Помоги мне, Зо. Понимаешь? Обидно пропустить такой случай. Вася раскачался, наконец, пойти с каким-то приезжим приятелем пообедать и в синема. А я решила ему сказать, что проведу вечер с тобой. Ты согласна? Ты не выдашь?

Зоя нахмурилась.

— Ну, нет, дорогая моя, — сказала она. — Эта абсолютно невозможно.

— Почему? — с негодованием воскликнула Зина. — Почему вдруг невозможно?

— Во-первых, потому, что я не желаю помогать тебе обманывать такого достойного человека, как твой муж, а, во-вторых, просто потому, что это для меня неудобно.

— Вот так друг, нечего сказать. Почему неудобно?

— Я сегодня вечером ухожу.

— Ну, так что же?

— Он может позвонить сюда и узнает, что тебя здесь нет.

— Чего ради он будет звонить? Да, наконец, мы можем сказать, что пошли в синема.

— Ах, еще выворачиваться, выкручиваться. Нет. Я

слишком его уважаю, чтобы взять на себя такую гнусную роль.

— Вот уж никогда не думала, что в тебе столько подлости, — с горечью сказала Зина. — Если бы знала, ни за что бы не обратилась к тебе.

Обе помолчали надутые.

— А, собственно говоря, зачем тебе эти алиби, раз он сам уходит? Сделай вид, что сидела весь вечер дома и делу конец.

— А если позвонит?

— Скажешь, что вышла опустить письмо.

— Какая ты умница! Ну, конечно, скажу, что была дома. Да я ведь и уйду не надолго. Я обещала только пообедать вместе. Ведь это будет так весело, он такой забавный. Ты не думай, — я очень люблю Васю. Если бы только он немножко больше понимал меня, не разводил бы эту мерихлюндию. Ведь это не жизнь, а какая-то мелодекламация под Эолову арфу, засахаренные звезды, а я люблю жареную колбасу с чесноком. Ну, что мне делать? Пойми, я очень ценю его и ни на кого не променяю, но иногда прямо выть хочется. Ну, отчего он такой? Милый, умный, благородный человек, но ни капли темперамента, не чувствует жизни, не понимает никаких ярких моментов.

Она приостановилась, подумала.

— Так, как же, Зоечка? Зо, милая? Значит советуешь просто сказать, что я буду дома сидеть?

Зоя сама открыла дверь на его звонок.

Он вошел, такой веселый, такой бурнорадостный, что, казалось, даже стекляшки на люстре зазвенели ему в ответ.

— Тише, Васька, что с тобой, — останавливала его Зоя и сама невольно смеялась вместе с ним.

— Так трудно было уйти, ты себе представить не можешь, — говорил он, целуя попеременно обе ее руки. — Я придумал для Зины, что у меня обед с приятелем. Понимаешь? Хитро? А она, вдруг, заявила, что в таком случае проведет вечер с тобой. Как тебе это нравится? Я прямо голову потерял. Ну, как тут ее отговоришь? Я посоветовал — ты сначала узнай, будет ли твоя Зина дома, а то проедешься даром и только расстроишься, если не застанешь? Ты, говорю, позвони ей по телефону. Ну, она решила, что, так как будет где-то неподалеку от тебя, так и зайдет сама. Вернулась с головной болью и решила лучше пораньше лечь в постель. Значит, все обстоит великолепно.

— Ну что за зверь! Радуется, что у его жены голова болит. Ну разве ты не зверь после этого?

— Ну это же пустяки — легкая головная боль. Если бы что-нибудь серьезное, тогда другое дело. Ну-с, а теперь перейдем к вопросу дня. Куда мы едем? У меня настроение очень приподнятое. Прямо — раззудись плечо, размахнись рука. Зойка! Едем обедать. Едем обедать в какое-нибудь самое расцыганское место. Идет? Ну! Живо! Шляпу! Подожди, подрумянь мне сначала губы.

— Тебе? Губы? Что за ерунда?

— Ну, да. Твоими губами, глупая, бестолковый гусь! Ух, до чего хорошо жить на свете!

Так, между прочим, всегда бывает — когда людям хочется поговорить, они отправляются в ресторан с музыкой. Музыка мешает, заглушает голоса. Приходится по три раза переспрашивать, выжидать паузы, иногда с

нетерпением и раздражением. И все-таки почему-то идут беседовать в ресторан с музыкой.

Зоя деловито выбрала место поближе к эстраде. Сели.

Она с удовольствием и сочувствием смотрела на сияющую физиономию мужа своей приятельницы.

— Что, кот-Васька, рад?

— Ужасно рад!

У него было выражение лица собаки, махающей хвостом во все стороны.

— Рад!

Было очень весело. Похохотали, выпили немало.

— Хорошо жить на свете?

— Очень даже недурно, — ответила Зоя. — Почаще бы так.

Он промолчал и посмотрел на часы.

— Что? Потянуло домой? — насмешливо спросила Зоя.

— Нет, время еще есть. Я скажу, что мы были в синема, а потом прошлись пешком. Ночь такая чудесная.

— Вот так чудесная, дождь, как из ведра.

— Неужели? — удивился он. — Хорошо, что вы обратили мое внимание на это обстоятельстве. Ну, так я скажу, что мы зашли в кафэ. Одним словом — по вдохновению.

— Ну, конечно. По вдохновению выходит лучше всего.

— Н-да. Хотя я раз по вдохновению так наврал, что прямо сам испугался. А она, бедненькая, даже не заметила.

— Вам кажется очень ее жалко? — сочувственно спросила Зоя.

Он отвел глаза в сторону и задумался.

— Это чудесный, милый человечек, — сказал он. — Я ее очень, очень люблю. Но мы так мало подходим друг к другу. Ну, вот вы нас обоих отлично знаете. Скажите — можно ли поискать более резкие контрасты, чем мы с ней? Я — полноценный пошляк, люблю нашу маленькую, подленькую жизнь, я легкомысленный — живи и жить давай другим. А она, Зина, это — тургеневская девушка, чистая, трепетная. Она вся, как насторожившаяся лань. Мне всегда страшно вспугнуть ее. Я всегда на-чеку, всегда осторожен, всегда боюсь, не брякнуть бы при ней чего-нибудь неладного. Зо, дорогая моя, вы умная женщина, вы меня поймете. Вы представить себе не можете, как это все иногда тяготит. Как бы я был счастлив, если бы Зина не только любила меня, но и знала и понимала. Но она никогда не поймет меня и никогда не простит. Я бы даже согласен был на ее неверность, конечно, мимолетную, несерьезную, — мы бы тогда лучше поняли друг друга и крепче спаяла бы нас на... чего вы смеетесь? Вы не слушаете моей горькой исповеди?

Зоя сдерживалась и не могла сдержать смеха. Подбородок и щеки дрожали, на глаза навертывались слезы.

— Васенька! Милый! Прости! Я... мне сегодня мой дантист рассказывал пресмешную штуку. Это, конечно, не имеет никакого отношения... Среди его пациентов есть парочка — муж и жена. Муж вставил себе зубы потихоньку от жены. Жена скрывает от мужа, что у нее фальшивые зубы. Оба просили дантиста не выдавать их. Отсюда масса неудобств. Каждый прячется, запирается от другого, когда совершает свой туалет. Дантист говорит: «Вот, в моих руках наладить это дело, позвать

их обоих вместе и открыть тайну. И как бы это упростило их жизнь! А не могу, — связан словом».

— Почему вам вспомнилась эта ерунда? — удивился Васенька.

— Сама не знаю, — весело отвечала Зоя. — Ну, а теперь пойдем. Бедная Зинушка заждалась.

ДВА РОМАНА С ИНОСТРАНЦАМИ

Были тихие сумерки.

По стене бегали огни автомобилей, вскрикивали их гудки, звякал трамвай. Острым буравчиком сверлил ухо призывный звонок соседнего кино.

И, все-таки, для тех двух женщин, которые сидели поджав ноги на колченогом диванчике, сумерки эти были тихими, потому что день со всеми его тревогами и заботами кончился, и в эти два-три часа перед сном можно позволить себе ни о чем не думать и не беспокоиться.

В такие тихие сумерки разговор ведется душевный. Шагать по полутемной комнате неудобно, надо сидеть спокойно. От спокойной позы и мысли делаются сосредоточеннее, не скачут с предмета на предмет. Самые привычные врали теряют свое вдохновение, становятся проще и искреннее.

Молодежь в такие минуты охотно говорит о смерти. Люди постарше — о любви. Старики — о разных приятных надеждах.

Те две дамы, которые поджали ноги на колченогом диванчике, были уже не первой молодости и поэтому говорили о любви.

— Нет, теперь все для меня кончено, — сказала одна.

Если бы в комнате было светлее, мы увидели бы, что у нее очень усталое лицо, погасшие глаза и плечи ее закутаны в серый пуховый платок, всегда чуть-чуть разодранный на плече, уютный, пахнущий духами и папиросами, словом — традиционный платок русской скорбящей женщины!

— Не преувеличивай, Наташа, — ответила другая. — Ты еще молода. Кто знает.

— Молода? — с горьким смешком сказала Наташа. — Нет, милая моя, после того, что я пережила, я себя чувствую семидесятилетней. Сама виновата. Не надо было изменять памяти Гриши.

— А сколько же лет ты была за Гришей?

— Лет? Лет! Пять недель. Познакомились перед самой эвакуацией. Сразу и повенчались. А через пять недель он выступил в поход. Больше мы и не встретились. Он был очень мил.

— Ну, на пять то недель всякого бы хватило.

— Н-не знаю. Н-не думаю, — обиженным тоном сказала Наташа.

— А что, собственно говоря, у тебя вышло с этим твоим женихом-французом? Я ведь толком ничего не знаю. Мы тогда встречались редко, когда он за тобой ухаживал. А потом слышу — свадьба расстроилась. Что он разлюбил тебя, что-ли?

— Нет-нет. Он говорит, что не разлюбил. Родители не позволили. Впрочем, это очень сложная история, — вздохнула Наташа.

— Моя история была тоже очень сложная, однако,

я не вздыхаю, а хохочу. Ты стрелялась? Отравлялась?

— Нет, что ты, грех какой!

— Вот видишь! А еще вздыхаешь. А я вот даже отравлялась, а как вспомню, так от смеха не удержаться. Ну, до того хорошо, до того хорошо!

— Чего же тут хорошего, если отравилась?

— В этом то, конечно, хорошего мало. Очень тошнило. Но именно оттого, что отравлялась, все так смешно получилось. Ну, да я потом расскажу. Сначала ты.

— Ладно. Только с чего начать... Ну, вот, как ты уже знаешь, работала я у модистки и познакомилась с мадам Ружо, с Мари. Очень она была милая. Мы подружились и затеяли открыть вместе магазин. Муж у нее тоже был славный, инженер. Дело у нас пошло довольно недурно. Мы с этой Мари были прямо неразлучны. Днем в мастерской и в магазинчике, вечером в синема, или играем в карты. Я у них и обедала, чтобы не вести своего хозяйства. И вот, бывал у них довольно часто сослуживец самого Ружо, мосье Эмиль. И вот, короче говоря, влюбился в меня этот Эмиль до-зарезу. Он мне сначала не особенно нравился, так казался пустеньким, банальным типом. Но потом, понемножку, начал он меня интересовать. Виделись чуть не каждый день, и он так настойчиво, так пламенно и так восторженно выражал всячески свою любовь, что я невольно стала относиться к нему внимательнее.

— Вот, вот, вот! Именно! Именно, — перебила слушательница.

— Что «именно»? — удивилась рассказчица.

— Нет, ничего, это я так.

— Ну, так вот, стала я относиться к нему внимательнее. А тут Мари подливает масла в огонь: «Повр

Эмиль! Умирает, мол, повр Эмиль. И такой чудный человек и состоятельный, а ты одинокая, кто о тебе позаботится, выходи за повр Эмиля». А Эмиль каждый вечер после обеда настоятельно требует брака. И эта настоятельность стала меня трогать. Он начал мне нравиться.

— Вот, вот! — перебила слушательница.

— Что такое «вот»? Чего ты все пищишь?

— Ничего, ничего, это я так.

— Муж Мари тоже очень меня уговаривает. И, представь себе, стала я замечать, что этот самый Эмиль начинает мне очень даже нравиться. Но все таки на брак решиться еще не могла. Хотелось проверить и себя, и его. Вернее, только себя, потому что в нем сомневаться было бы прямо смешно. И страдает, и блаженствует, и чорт его знает что — прямо какая-то смесь Ромео с Джульеттой. Долго я его томила, наконец, сказала: «Мне кажется, что я смогу вас полюбить». Так он, — ты представить себе не можешь! — прямо плакал. Он от восторга кинулся целовать Мари. Меня не смел, так ее. И смешно, и трогательно. И тут же решил выписать в Париж родителей, чтобы познакомить меня. Муж Мари объяснил мне, что родители у него состоятельные, и он хотел непременно жениться с их одобрения.

— И вечно они с этими родителями! — перебила слушательница и тут же прибавила: — Ничего, это я так.

— Родители у Эмиля оказались премилые, такие какие-то старинные, трогательные, особенно мать. Она меня сразу заобожала. Целые дни были мы вместе. То она у нас в магазинчике сидит, то я у нее. Такая душевная была, такая чуткая, так все понимала. И ей понрави-

лось, что я не сразу дала Эмилю согласие, что хотела сначала проверить и себя, и его. Словом, такая была милочка, что я прямо в нее влюбилась и даже прослезилась, когда она уехала. Расставались ненадолго, потому что через месяц она обещала приехать на свадьбу. Мой Эмиль ликовал, сиял и прямо исходил восторгом. Мои милые Ружо не нарадовались на нас. Мари помогала мне в свадебных хлопотах, делала подарки и была счастлива моим счастьем.

И вот однажды, в один проклятый прекрасный день сидели мы вдвоем с мосье Ружо, ждали Мари к завтраку. Я зашла к ней в спальню попудриться и вижу — на столе шкатулочка. Шкатулочка приоткрыта и торчит из нее письмо. Бумажка синяя, такая, как у Эмиля. Почерк тоже как будто Эмиля. Невольно взглянула и вижу — действительно его почерк. Конечно, это меня ничуть не удивило, потому что они старые знакомые, почему бы ему и не написать ей. Но как на грех, в той строчке, которая была мне отчетливо видна, стояло мое имя: «Бедненькая Наташа» — прочла я и заинтересовалась. Почему я вдруг «бедненькая»? Любопытство погубило Еву. Я потянула письмо за уголок, вытянула и прочла. Сначала одну эту фразу про «бедненькую Наташу», потом все письмо. Письмо было такого содержания, что сомнений никаких оставить не могло. Этот самый «повр Эмиль», безумно и счастливо влюбленный жених, с этой самой милой моей подругой Мари только что развели самый определенный романчик под самым моим носом. Романчик был совсем свеженький, длился всего дней десять.

«Будь осторожна, — просил мой нежный жених, —

чтобы бедненькая Наташа, которую я так люблю, не огорчалась нашей связью».

Все это было так неожиданно, так дико, что я... Я не знаю, что со мной сделалось. Я лишилась сознания. Долго ли я пролежала — не знаю, но когда открыла глаза, вижу — стоит около меня мосье Ружо и с большим интересом читает это самое проклятое письмо. А я хочу встать — и не могу. У меня отнялись ноги.

Он прочел, покрутил головой.

— «Милочка, говорит, как вы меня испугали. Это с вами часто так бывает, что вы в обморок падаете?».

А я кричу — «Отдайте, отдайте мне это письмо! Не смейте его читать!»

А он брови поднял, удивляется:

— Так это, говорит, вы из-за такого пустяка в обморок падаете?

Обнял меня, поднял, усадил на диван, гладит по голове, целует. А я разливаюсь, плачу. Как теперь жить? Все рухнуло.

А он смеется.

— Пустяки, — говорит. — Посердитесь немножко, это полезно, а потом забудьте.

А я возмущаюсь:

— И это говорите вы. Ведь он же с вашей, с вашей женой мне изменил!

А он машет рукой.

— Ну и тем лучше. Он вам изменил с моей женой, а вы ему измените со мной. Вот всем и будет хорошо.

Я тут как заору, в полной истерике. И бежать.

Дома заперлась, целую неделю не выходила. Письма всем написала. Эмилю отказ, Мари упрек, Ружо проклятие. Но главное письмо — старухе, Эмилевой мате-

ри. Все ей объяснила и сердечно и трогательно с ней попрощалась. Ответа от нее не получила.

Через неделю пришлось все-таки пойти в магазин. Нельзя. Дела. Встретились мы с Мари странно. Она с легкой насмешечкой, точно я зря надурила. Понемножку разговорила меня. Бросила вскользь, что Эмиль стреляться хотел, что вообще так разумные женщины не поступают, что нельзя падать в обморок с компрометирующим письмом в руках, что это даже непорядочно, но что она меня любит и поэтому прощает причиненные ей неприятности, но что, конечно, после моего (моего!) ужасного поступка прежней дружбы между нами быть не может. Потом появился Эмиль. Он рыдал, бился об стенку головой, сначала затылком, потом лбом. Я была неумолима. Но, увы, недолго! Он как-то сумел меня убедить. Я простила. Все как будто снова наладилось, но тут пришло письмо от его матери. Письмо было адресовано ему, потому что с такой женщиной, как я, ей не о чем и разговаривать.

В письме к сыну она категорически запрещала ему на мне жениться, потому что, если я способна поднять такую историю из-за пустяков, то что же будет дальше? Что это будет за жизнь? «Она вечно будет валяться в обмороках и компрометировать своих приятельниц — всеми уважаемых женщин».

Эмиль был очень грустен. Говорил, что он рассчитывает на смягчающее влияние времени. Мать передумает. Но пока мать передумывала, он женился на другой.

— Вот и все? — спросила слушательница. — Ну, мой роман был гораздо забавнее. Вот я его тебе расскажу. Я расскажу, только очень уж все это глупо. Если

бы в комнате было светло, так мне на тебя и взглянуть было бы стыдно.

— Ничего. Мы с тобой старые приятельницы. Лампы я не зажгу. Посумерничаем еще немножко. Ну-с? С кем же у тебя был роман? Тоже с французом?

— Нет. Ни за что не угадаешь. С румыном!

— Ну и угораздило же тебя! Неужели влюбилась?

— Еще как! Прямо трагедия. Ха-ха-ха!

— Трагедия, а хохочешь, — удивлялась приятельница. — Или это у тебя истерика?

— Ах, милочка, если бы ты знала, до чего смешно! Ведь я отравлялась.

— Чего же тут смешного?

Если бы в комнате было светло, мы увидели бы, что та, которая отравлялась, была толстенькая брюнетка с живыми черными выпуклыми глазами, в аккуратных завитушечках, в дешевом, но модном платьице, подмазанная, подщипанная, поглаженная, спокойная и довольная. Увидели бы и подумали бы:

— Врет! Такие не травятся.

— Чего же тут смешного? — удивлялась приятельница. — Если отравлялась, очевидно страдала.

— Еще как! Ха-ха-ха! Тем то и смешно, что страдала.

— Ну так расскажи. Вместе посмеемся, — иронически сказала приятельница.

— Ну-с так вот, милая моя. Работала я тогда в институте деботэ у мадам Ферфлюх. Работали мы хорошо. А дело это, знаете ли вы, очень психологическое. Вы думаете, так просто помазала, потерла, да и готово. Нет, милая моя, этого далеко не достаточно. Особенно, если клиентка пожилая, с разными сердечными разочарова-

ниями. Тут необходим душевный разговоро. Еще пока ей брови щиплешь, тут можно и молчать, потому что ей больно, она кряхтит. Когда поры чистишь, тоже момент к разговору не располагающий. Дело, так сказать, почти что медицинское. Ну а когда до самой ботэ дойдешь, крем, лосион, краски, пудры — тут у каждой женщины душа открывается. И почему это так — откровенно говоря, не могу себе объяснить, но только это факт и можете справиться у любой массажистки по части лица. Прямо иногда диву даешься, что они, эти клиентки, рассказывают! Казалось бы, под пыткой такого не расскажешь. Если бы я все записывала, так прямо романов на несколько томов хватило бы. Да еще каких!

И вот, была у меня одна клиентка, довольно молчаливая. Я грешным делом думала, что она просто от старости молчит.

Маленькая была старушонка, щупленькая, носик востренький, щечки подтянуты и к вискам пришиты, а из под подбородка кожица за ушами пришпилена. Хорошая была клиентка, на чаевые не скупилась. Платила, впрочем, не сама, — за нее лакей расплачивался. Как сеанс кончен, лакей подходил, заворачивал ее в шубу и относил в автомобиль. Прямо на руках. Уж очень она уставала. Лежит, бывало, я ей ресницы подклеиваю, а она рот приоткроет — черный рот, страшный, щеки обтянутые — и захрапит. Засыпала от усталости. Очень утомительную жизнь вела. Визиты, примерки, чаи, обеды, концерты, спорт. Да, да — спорт. Ездила в гольф играть. Подумать только! В такие годы и такую муку на себя брала.

И вот как-то явилась она в совсем особом настроении. Подвинченная какая-то, улыбается, жантиль-

ничает. Заказала всяких кремов и красок — едет в Америку.

И вдруг, совершенно неожиданно, хватает меня за руку.

— Милочка! — говорит. — Если бы вы знали, как мне не хочется уезжать! Именно теперь. Но муж требует, чтобы я сейчас же приехала. Какіе-то дела. Наверное, все пустяки. А мне сейчас хочется остаться здесь. Вы меня понимаете?

Ну, конечно, такую клиентку всегда полагается понимать.

Я вздохнула и говорю:

— О, как я понимаю!

А что такое надо понимать, хоть убейте, не знаю.

А она прямо затрепетала.

— Я, — говорит, — познакомилась с ним два дня тому назад, и решила — пригласить его вести мои здешние дела. Ах, если бы вы знали! Если бы вы только знали! Это не какой-нибудь мальчишка из дансинга. Это само благородство. Это ум! Это сердце! Это брюнет. И я не успела даже сговориться с ним на счет его обязанностей — как вот приходится бросать все и спешно ехать. Но я вернусь, я скоро вернусь.

И не успела она излить мне свою душу, как в нашу кабинку постучали и сказали, что клиентку мою хочет видеть какой-то мосье Пьер.

Она даже задохнулась.

— Это он! — шепчет — это он!

И вошел в комнату молодой человек, довольно красивый, только какой-то весь чересчур. Понимаете? Чересчур бел, чересчур румян, малиновые губки, волосы черные аж до синя, брови круглые — прямо какая-то

малороссийская писанка. Но все-таки красивый. Страшно любезный. Привез старухе какие-то билеты от какой-то дамы. Был на дому, узнал, что она здесь, а так как дело спешное, то разрешил себе и так далее.

Старуха моя так и завибрировала.

Он ее под ручку ухватил и умчал.

Ну, умчал и умчал — мне то что.

Но вот дня через два является этот самый Пьер и прямо ко мне. Извиняется очень почтительно и спрашивает, не забыла ли здесь мадам Вуд свои перчатки.

— Разве, — спрашиваю, — она не уехала?

— Нет, — говорит, — она на другое же утро уехала и вот поручила узнать насчет перчаток.

Я велела шассеру поискать, спросить в кассе.

А мосье Пьер смотрит на меня и так странно улыбается.

— Вам, — говорит, — наверное ужасно здесь скучно, при вашей исключительной внешности.

Я приняла достойный вид.

— Ничуть, — говорю. — Я очень люблю работать.

А он опять:

— При такой постоянной усталости необходимо развлекаться, иначе можно совершенно перегрузить нервы. Может быть, — говорит, — разрешите зайти за вами на счет кинематографа.

Я согласилась, но однако с большим достоинством.

Он страшно обрадовался и кричит шассеру:

— Перчаток не ищите, я их уже нашел.

Тут я поняла, что он все это выдумал, чтобы меня повидать.

Признаюсь — очень меня это зацепило. — Вот, думаю, вращается человек в таком пышном американ-

ском кругу, и вдруг так на мою внешность реагировал.

Ну и пошло и пошло.

Стал у меня бывать. И все, как говорится, «любите ли вы меня, да любите ли вы меня».

Я, по нашей русской манере, ни да, ни нет, полна загадочности, хоть ты издыхай.

Он совсем истомился.

— Елена, — говорит, — вы святая. Вы святая Елена, и я погибну, как Бонапарт.

Месяца два проманежила я его, наконец, говорю:

— Скорее да, чем нет.

Он конечно совсем обезумел.

— В таком случае, — говорит, — разрешите принести пирожных.

Принес, да по рассеянности сам все и съел.

И между прочим выяснилось, что фамилия его — трудно поверить! — Курицу. Может-быть по-румынски это и очень шикарно. Может быть по-румынски это Мусин-Пушкин-Шаховской и Гагарин. Почем мы знаем. Конечно, ужасно, но я так влюбилась, что и Курицу проглотила.

А он стал напирать на брак. Вот тут мне мысль о Курицу показалось невеселой, ну да уж не до того было.

Занимался он комиссионными делами. Зарабатывал, кажется, недурно. Впрочем относительно этого ничего толком не знаю.

А он уж приходит настоящим женихом, и даже сделал мне подарочек самого семейного духа. Подарил мне электрический утюжок. Очень мило. Мы его всегда вместе в передней в шкапчик прятали.

Так все значит идет к своему блаженному концу. И

вот как-то, вспоминая нашу первую встречу, говорю я ему:

— А по-моему, Пьеруша, эта старая ведьма была в вас влюблена и были у нее на вас особые цели.

Он от негодования даже покраснел.

— С чего вы это взяли? Вы все это выдумали.

Я ему рассказала, как она мне о ком-то намекала, с кем только что познакомилась.

Он очень подробно расспрашивал, видимо очень был возмущен моим предположением. Я старалась шуткой загладить неприятное впечатление, но он стал какой-то рассеянный, задумчивый, очевидно, сильно на меня обиделся. И представь себе, с того самого случая словно что-то надломилось. Стал реже бывать, о свадьбе молчит. А я, как часто в таких случаях бывает, тут-то и уцепилась. Словно он мне проволокой зуб зацепил — чем дальше тянет, тем мне больнее. Чего я только ни делала — и равнодушие на себя напускала, и плакала, и цыганские романсы пела. Нет. Ничего не берет. Отходит от меня мой Курицу. Извелась я в конец.

Вернулась моя американка, пришла красоту наводить. Веселая. Подарила сто франков.

Я говорю нашим:

— Старуха то наша что то распрыгалась.

А хозяйка смеется:

— У нее, — говорит, — жиголо. Тот румяный, что к ней сюда перед отъездом прибегал. Я их в автомобиле постоянно встречаю и два раза в ресторане видела.

Я еле часы свои досидела, еле домой приплелась. Написала ему: Когда прочтете эти строки, приходите, и я сама, молча, скажу вам «прощай».

Послала пневматичкой, а сама достала баночку кры-

синого яду, накатала пилюлек и проглотила. Реву и глотаю. И жизни не жалко. Придет — думаю — и поймет, что значит «молча» скажу прощай.

И дрянь же этот крысиный яд. Целые сутки наизнанку меня выворачивало. А он, подлец, пришел только через несколько дней. Сидел в профиль, плел какую-то ерунду, что его родители не любят женатых детей. Я разливалась — плакала.

Потом встал, сказал, что мой образ всегда будет перед его духовными очами, но что он слишком благороден, чтобы сделать меня несчастной, подвергнув мести его родителей.

Ушел эффектно, закрыв глаза рукой.

Я распахнула окно и стала ждать. Как только выйдет из подъезда — выброшусь на мостовую. Вот. Пусть.

А он что-то замешкался в передней. Слышу — скрипнул шкапчик. Что бы это могло значить? Входная дверь щелкнула. Ушел! Но что же он такое делал? Почему открывал шкапчик?

Я бросаюсь в переднюю. Открываю шкапчик... Милые мои! Ведь это... ведь это повторить невозможно! Он свой утюжок унес! утю-жо-ок!

Веришь ли, я прямо на пол села. До того хохотала, до того хохотала и так мне легко стало, и так хорошо.

— Господи! — говорю, — до чего же чудесно на Твоем свете жить! Вот я теперь, как вспомнила, ха-ха-ха, как вспомнила, то наверное до утра прохохочу. Утюжок! Утю-жо-ок! Я бы бахнула на мостовую, череп вдребезги, а у него в руках утюжо-ок! Картина!

Эх, милая моя, такое в жизни бывает, что и нарочно не выдумаешь.

ВЫБОР КРЕСТА

Есть такая новелла: «Выбор креста».

Человек изнемог под тяжестью своего креста, возроптал и начал искать другой крест. Но какой бы он ни взваливал на свои плечи — каждый оказывался еще хуже. То слишком длинный, то слишком широкий, то остро резал плечо. Наконец, остановил он свой выбор на самом удобном. Это и оказался его собственный, им отвергнутый.

А вспомнилась нам эта новелла вот по какому случаю.

* * *

Ермилов очень уважал свою жену, свою Анну. Это была удобная жена, в меру заботливая, неглупая. Но когда он встретил Зою Эрбель, он даже удивился, как мог прожить столько лет с этой прозаической Анной.

Анна была недурна собою, крупная, ширококостая, с большими руками и ногами, свежим лицом. Одевалась просто, любила английские блузки, башмаки на плоских каблуках, мужские парчатки, не красилась, не душилась. Все на свете для нее было ясно и просто. Мистики были для нее неуравновешенными субъектами. Влюбленность — естественным влечением полов.

Поэзия — «ничего, если носит в себе содержание».

С мужем своим она никогда не нежничала, не называла его разными ласковыми или шутливыми именами, но зато очень внимательно следила, чтобы у него было все, что ему нужно, интересовалась его пищеварением, аппетитом, заставляла делать гимнастику и заниматься спортом.

Ермилов спорта не любил, гимнастика ему надоела, надоела за четыре года жизни и сама Анна.

Скучно было с ней.

Скучно было даже то, что в доме всегда был порядок, все вымыто, вычищено, ничего лишнего.

— Точно в солдатском госпитале, — ворчал он.

Когда он в первый раз попал в дом к Эрбелям, он зашел случайно по делу. Его сначала поразила, потом умилила обстановка той комнаты, где ему пришлось ожидать хозяина.

Первый раз в дом к Эрбелям он попал случайно по делу. Его сначала поразила, потом умилила обстановка той комнаты, где ему пришлось ожидать хозяина.

На столе, заваленном ворохом газет и журналов, в таком беспорядке, словно кто-то нарочно рыл их, стояла открытая коробка с огрызками конфет, из под газет выглядывало что-то розовое и свисала вниз резиночка с пряжкой и бантиком. Тут же на газетах валялся раскрытый кошелек.

Мебель в комнате расставлена была как-то нелепо, как попало. Кресло было повернуто спинкой к столу. Один из стульев вплотную лицом к стене.

Из соседней комнаты доносился звонкий женский

голосок, который сначала все напевал странную песенку, грустную по содержанию и веселую по мотиву:

«Денег нет, денег нет,

Абсолютно денег нет».

Потом такой же голос в отчаянии воскликнул:

— Шурка! Квик опять утащил мой чулок! Шурка! Посмотри за дверью. Я не могу — там чужой дядя сидит.

В ответ послышалась недовольня басовая воркотня вполголоса. Потом снова женский голосок сказал решительно:

— Ну, что-ж делать. Я пойду сама, ты пойми, что это единственные мои чулки. Все остальные собака растащила и разодрала. Что? Ну так что-же? Не съест он меня, твой деловой человек.

Дверь осторожно открылась, и молоденькая женщина, в розовой пижаме, всклокоченная и смущенная вошла в комнату.

— Простите, — сказала она. — Муж сейчас выйдет. Он пишет... Я здесь забыла...

Она проворно бегала глазами по полу, взглянула на стол и, увидев розовую резиночку, искренно обрадовалась:

— Ах, и это здесь? Хорошо, что я увидела.

И, повернувшись в сторону двери, из которой вышла, закричала:

— Шурка! Не ищи корсета, я его нашла. И чулок на нем.

Она улыбнулась Ермилову самой светской улыбкой, вытащила из под журнала свой корсет, на котором, действительно, висел чулок, помахала приветливо рукой, словно из окна уходящего поезда, и захлопнула за собой

дверь. Через несколько минут вошел Эрбель, длинный, растерянный. Одной рукой он придерживал ворот своей рубашки и беспомощно искал что-то глазами — очевидно, потерянный галстук.

— Простите, ради Бога! — смущенно сказал он. Здесь такой хаос. Я сейчас буду готов, и мы можем пойти тут рядом в кафэ, там будет удобнее поговорить.

Он развел руками, заглянул за диван и вышел.

Через минуту за дверью раздался его отчаянный вопль:

— Так зачем же ты завязала собаке мой галстук! Это же идиотство, какому имени нет.

А в ответ раздалась декламация:

«Оттого, что душе моей имени нет
«И что губы мои нецелованы!»

Наконец, Эрбель вышел вполне готовый, потыкался по передней, ища шляпу, но очень быстро сам заметил ее под стулом, тряхнул, дунул и открыл дверь на лестницу.

Они уже шагали по тротуару, когда звонкий голосок пропел над ними:

«Ты глаза на небо ласково прищурь,
«На пьянящую, звенящую лазурь...»

Эрдель сердито прибавил шагу, а Ермилов поднял голову и увидел на балкончике второго этажа розовую фигурку и в ту-же минуту что-то мокрое больно щелкнуло его по носу. Это был брошенный розовой фигуркой цветок, очевидно, вытащенный из вазы, где давно сгнил, потому что весь ослиз, раскис и скверно пахнул. Ермилов тем не менее его поднял.

— Это не вам! — кричал сверху звонкий голосок, — это злому Шурке, любимому моему ангелу.

«Любимый ангел» обернулся и прошипел Ермилову с самой зверной рожей:

— Да бросьте вы эту мерзость! Вы себе весь пиджак испачкали.

Ермилов шел и улыбался.

— Какая удивительная женщина — думал он. — С такой не соскучишься. Все в ней поет, все в ней звенит...

***

Эрбель отдавал должное своей жене. Она была молода, весела, беззаботна. Как бы скверны ни были их дела, она никогда не ныла и не попрекала его неудачами.

Но зато и поддержки или помощи ждать от нее было нечего. В доме был беспорядок, в котором пропадали бесследно деловые письма, деньги, вещи. Ни для сна, ни для еды определенного времени не было.

Намерения у нее были самые лучшие и, видя, что мужа мучает ее безалаберность, она даже завела приходо-расходную книгу, на первой же странице которой Эрбель с интересом прочел:

«Выдано на расходы 600 франков. Истрачено 585. Осталось 100, но их нету. Есть только 15».

— Зоечка, — позвал он жену, — что это значит?

— Это? — деловито спросила Зоя. — Это вычитание.

— Какое вычитание?

— Ты такой придирчивый! Так вот, чтобы ты не придирался, я сделала для тебя специально вот здесь на полях вычитание. Видишь? Из шестисот вычла пятьсот восемьдесят пять; получилось сто. Но их нету.

— Постой, почему же сто? удивился Эрбель.

— Как почему? Смотри сам: пять из ноля ноль.

— Почему ноль?

— Да что ты все — «почему, да почему»? Ясно почему. Ноль означает цифру, у которой ровно ничего нет. Так как же ты будешь от нее что-то отнимать? Откуда же она тебе возьмет?

— Так ведь надо же занять.

— Это ноль полезет занимать? У кого?

— Да у соседней цифры.

— Чудак! Да ведь там тоже ноль. У него у самого ничего нет.

— Так он займет у соседней цифры, убеждал ее муж.

— И ты воображаешь, что она ему даст. Да и вообще — полезет он занимать специально для того, чтобы отдать тому первому голодранцу. Ну, где такие вещи бывают? Даже смешно слушать.

— Одним словом, я вижу, что ты просто напросто не умеешь делать вычитания.

— Если делать просто механически, конечно, и я смогу. Но если серьезно вдуматься, то все эти займы у каких-то нулей для меня органически противны. Если хочешь занимайся этим сам, а меня уволь. Теперь вот дал мне тысячу франков. Три нуля. Веселенькая компания. И все полезут к этой несчастной единице. Ну... одним словом, как хочешь, с меня довольно.

Эрбель вздыхал, брал шляпу, уныло счищал с нее рукавом пыль и уходил из дома.

Когда он в первый раз увидал Анну — жену Ермилова, он был поражен.

— Какая спокойная, милая женщина! Как все с ней ясно, чисто, просто. Отдыхаешь душой.

Он долго сидел у Ермиловых, и ему не хотелось идти домой. Но идти все-таки пришлось и, когда он, войдя в свою переднюю, споткнулся о какой-то развороченный чемодан и услышал из спальной громовую декламацию, он чуть не заплакал.

Дня через два, ожидая к себе Ермилова ровно в три часа, он, вернувшись к двум, застал уже своего нового приятеля. Ермилов сидел верхом на стуле и с упоением кормил собаку шоколадом, а Зоя, подкатав выше колен штаны своей пижамы, плясала пред ним матросский танец.

При виде Эрбеля, Ермилов ужасно смутился и, путаясь, стал объяснять, что пришел раньше, потому что надеялся застать Эрбеля дома и, таким образом, больше очистилось бы времени для деловой беседы.

Эрбель совершенно не понял его конфуза.

Зато, когда он на другой день пошел к Ермилову «узнать адрес хорошей переписчицы», именно в тот час, когда хозяин обыкновенно дома не бывает, и на этот раз, в виде исключения, он как раз дома оказался, то Ермилов тоже ничуть этому не удивился.

— Как вы так почувствовали, что я сегодня на службу не пошел? — совершенно искренно спросил он.

Эрбель что-то промямлил и, когда Анна предложила ему пойти вместе поплавать в бассейне, он согласился так быстро и с таким восторгом, что Ермилов посмотрел на него с презрением.

— Вот никогда бы не мог подумать, что вы любите эту ерунду!

Анна в воде была еще очаровательнее, чем в обычной обстановке. Свежая, сильная, быстрая, спокойно-веселая, она учила Эрбеля нырять и прыгать с доски,

держала его уверенной рукой, так властно и вместе с тем приветливо.

Они решили плавать каждый день. Иногда ходили к пруду кататься на лодке. И все это было чудесно и, чем дальше, тем чудеснее.

Эрбель всегда провожал Анну домой, они вместе обедали и часто он оставался у нее весь вечер.

Ермилова почти никогда не было дома.

Но вот как-то случилось так, что Эрбелю должен был кто-то позвонить по делу, и он ушел домой раньше обыкновенного. Открыл дверь своим ключом, заглянул в гостиную и не сразу понял, в чем дело.

В комнате было полутемно, и у раскрытого окна сидела Зоя. Сидела она на чем-то высоком, странно подняв согнутую в локте руку и, покачиваясь, декламировала:

«Так люби меня без размышленья,

«Без тоски, без думы роковой...»

Эрбель с интересом вгляделся и увидел, что то высокое, на чем Зоя сидела, были чьи-то колени, и что согнутая Зоина рука обнимала чьи-то плечи.

Желая точнее узнать, в чем дело, он повернул выключатель, Зоя вскочила и обнаружила растерянного и растрепанного Ермилова, который встал и схватился за голову.

Эрбель сделал успокоительный жест и сказал тоном джентльмена:

— Пожалуйста не стесняйтесь! Простите, что помешал.

Повернулся и вышел. Он был очень доволен собою, и ничуть не чувствовал себя оскорбленным. Разве только слегка удивленным.

— Изменять мне с таким болваном!

— Изменять «ей» с таким ничтожеством!

Пожав плечами и забыв о деловом телефоне — до того ли тут — полетел он к Анне.

Анна отнеслась к новости довольно безразлично.

— Да они оба исключительно неуравновешенные типы,—сказала она.—Граничащие с дефективностью. Надо, чтобы все прошло бы без эксцессов. Я не люблю ничего вредного. А вы должны уйти, потому что Николай может вернуться, и ваша встреча с ним легко вызовет эксцессы.

Несмотря на неприятное впечатление, произведенное дважды повторенным словом «эксцессы», Эрбель нашел в себе силы взять Анну за руку и сказать:

— Анна! Я рад, что так случилось. Я рад, что вы и я теперь свободны. Понимаете ли вы меня?

Анна поняла.

— Да, деловито сказала она. Разумеется, в этом есть своего рода удобство. Я имею в виду ваше влечение ко мне. Но, с другой стороны, все это нарушает спокойный ход жизни.

— Анна, я люблю вас!—сказал он: я хочу соединить наши ходы, то есть жизни, то есть ход жизни. Одним словом — вот.

***

Все наладилось.

Эрбель с восторгом переехал в квартиру Ермилова. Ермилов покорно перебрался к Зое.

И время пошло.

***

Как именно шло время, мы не знаем, но года че-

рез три пришлось Ермилову пойти по делу к Эрбелю.

Созвонились, и в назначенное время Ермилов вошел в знакомый подъезд.

С удивлением прислушиваясь к своему настроению, поднимался он по лестнице.

— Я как будто жалею! — усмехнулся он.

Знакомая передняя. Все как было. Все так же чисто и светло и так же ничего лишнего. Вот только на вешалке чужое мужское пальто. Но ведь за последнее время пред их разлукой он привык видеть на вешалке чужое пальто. Только тогда это было безразлично, а теперь почему-то грустно.

Встретила его Анна, все такая же крепкая и свежая.

— Здравствуй, Николай — сказала она спокойно. — Тебе придется подождать. Александра никак нельзя приучить к аккуратности. Это — вообще тип, не поддающийся культуре.

Ермилов сел в то самое кресло, в котором и обычно сидел в былые времена.

Анна взглянула на часы.

— Через двадцать пять минут мы можем выпить чаю.

Он вспомнил ее аккуратность в распределении времени.

— Это выходило несколько суховато — подумал он. — Но зато как удобно!

Эрбель так и не вернулся к назначенному времени.

— Позвони домой, посоветовала Анна. Он наверное все перепутал и сам пошел к тебе. Это олицетворенная бестолочь, прибавила она с раздражением.

Но Ермилову звонить домой не хотелось.

— Тогда оставайся обедать, — предложила Анна. — Я так рада, что вижу тебя.

Он удивился и обрадовался и с удовольствием пообедал за хорошо сервированным столом, потом сел в свое любимое кресло, и машинально протянул руку за газетами.

Потом Анна стала деловито и толково расспрашивать его о делах.

Он испытывал чувства человека, вернувшегося после занятного, но утомительного и надоевшего путешествия к себе домой. Хотелось потянуться, зевнуть и сказать с довольной улыбкой:

— Ну вот, теперь можно отдохнуть, да и за дело.

Домой он попал поздно. Еще на лестнице слышал, как Зоя поет какую-то ерунду и брезгливо сморщился.

— Не женщина, а какая-то птичья дура.

Вошел и остановился.

На ковре сидел Эрбель, а на диване Зоя. Эрбель положил голову ей на колени и обеими руками обнимал ее за талию.

— Пожалуйста не стесняйтесь, — спокойно сказал Ермилов. — Простите, что помешал.

Повернулся и вышел.

Вышел и пошел к Анне.

И всю дорогу старался вспомнить, где это он слышал эту гордую и благородную фразу, которую только что с таким шиком произнес.

Но так и не вспомнил.

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Был обычный парижский воскресный день начала лета.

Ни жарко, ни холодно.

Как всегда, парижский плебс понесся по всем дорогам и всеми способами — в трамваях, автобусах, автомобилях и по железным дорогам — вон из города.

Василий Петрович Капов вывел Татьяну Николаевну Рыбину на прогулку.

Он — высокий, худощавый, тусклой окраски, молчаливый, любит, стиснув зубы, шевелить желваками скул.

Она — плотненькая, не черезчур молодая, окраски произвольной золотистой. Выражение лица обиженное.

Идут.

1. Ее прогулка.

Ужасный день!

Что может быть отвратительнее парижского воскресенья.

От реки дует. Дует может быть и в будний день, но тогда это не так заметно. В будний день Татьяна Николаевна бежит на службу или со службы, спешит, торопится — до погоды ли ей. А сегодня, в воскресенье, когда она на улице, так сказать, для собственного удо-

вольствия, эта отвратительная погода раздражает и злит.

Солнце светит — неприятно светит. Сеет на носы веснушки и больше ничего. И ветер. И иди как дура и радуйся.

И что это за манера непременно итти гулять. Следовало бы хоть немножко считаться с ее вкусами. Ну как не понять, что ей хочется в синема. Она, конечно, человек деликатный и прямо этого высказать не может. Во-первых, потому, что может быть у него мало денег, а во-вторых, это слишком явно покажет, что ей с ним скучно, что говорить с ним не о чем, и что он ей надоел, а если он это поймет, конечно, сейчас же начнутся упреки и трагедии, появится какой-нибудь ржавый револьвер, как у Ивана Николаевича, и будет он вертеть этим револьвером то перед своим, то перед ее носом. Что может быть хуже истерических мужчин. А он — истерик. Он именно из тех, которые с особенным смаком терзаются. С ним надо быть осторожной.

Скучно гулять. Но все же лучше, чем сидеть в крошечной комнатушке и от нечего делать полировать себе ногти, а он будет курить или шлепать пассьянс. О-о-о! И за что! За что весь этот ужас?

Она остановилась на мосту и долго смотрела через перила, как бежит и кружится вода.

— Пойдем, — сказал он. — Не надо так смотреть.

Он как будто что-то понял. Неужели он догадывается? Надо быть осторожной. У него какой-то странно-напряженный взгляд. И за что он так безумно полюбил ее?

Ну что-ж, она с своей стороны делает все, что может. Вот сейчас в воскресенье, вместо того, чтобы пой-

ти к Варе Валиковой, у которой наверное собрался народ (Господи! Ведь все веселее этой идиотской прогулки) — она должна тащиться, как коза на веревке, за этим врожденным самоубийцей.

— Может быть, зайдем в кафэ? — спрашивает он.

— Нет, мерси, — отвечает она. — Лучше погуляем.

Зайти в кафэ, это значит сидеть в душной, пропахшей табаком и пивом атмосфере, смотреть, как играют в беллот добродетельные мелкие буржуа, а их жены сидят рядом и тупо засматривают им в карты. А ее кавалер заведет тягучий разговор, абсолютно ей неинтересный.

Сказать бы ему прямо:

— Я знаю, я верю, что вы любите меня, но я то, я то вас не люблю. Поймите это и оставьте меня без трагедий и без смертей.

Вот они переходят через улицу и он взял ее под руку.

— Он ищет случая дотронуться до меня, — думает она с отвращением. Как ужасна эта примитивная страсть!

— Может быть, вы хотите пойти в синема? — вдруг спрашивает он, и она видит на его лице странное выражение не то мольбы, не то отчаяния. Вероятно он хочет доставить ей удовольствие и боится, что она согласится, потому что это будет значит, что ей скучно с ним и говорить не о чем.

— Нет, — говорит она, — я с удовольствием пройдусь еще немного. А в синема нельзя ни видеть друг друга, ни разговаривать.

Вот! Больше жертвовать собою, чем она жертвует,

уже невозможно. И все из жалости, все из страха, как бы этот слюнявый неврастеник, выродок, провались он пропадом, не покончил с собой.

Надо бы поговорить о чем-нибудь.

— Посмотрите, какой милый песик бежит, — сказала она, страдальчески улыбнувшись.

— Н-да, — отвечал он. — Бежит, чего ему делается.

Она поняла, что ему неприятен этот пустой разговор о песиках.

Но ведь нельзя же все время бубнить о своих чувствах! — молча возмущалась она. — Уж очень он простецкий тип. Он не может поддерживать даже самого простого разговора. И как могла я допустить нашу близость. Где были мои глаза!

— Помните нашу первую встречу у Великовых? — невольно спросила она.

По лицу его пробежала судорога.

— Гм... — ответил он и чуть-чуть покраснел.

— Что значит «гм»? — раздраженно спросила она. — Вам не хочется со мной разговаривать?

Он испуганно подхватил ее под руку.

— Что вы, что вы! Напротив, страшно хочется. Ужасно хочется. Прямо безумно хочется.

Какой истерик!

— Ну так чего же вы молчите, когда вас спрашивают.

— Я просто как-то не сообразил, что ответить. То есть, не то, что ответить, а как ответить. Словом, растерялся. Ради Бога, не подумайте... Ну, просто человек удивился, что вдруг так на мосту и прямо, так сказать, как говорится, всколыхнулись воспоминания. Дорогая,

вы как-то странно на меня смотрите, вы точно не верите мне. Вы же знаете...

— Знаю, знаю, все знаю, — с раздражением перебила она. — Проводите меня домой, у меня голова болит.

— Нет, здесь что-то не то, — взметнулся он. — Я чувствую, что здесь не то. Вы очевидно меня не так поняли. Вы ведь не можете сомневаться в моем чувстве к вам? — воскликнул он с отчаянием.

— Да нет же, нет, верю, верю, — с раздражением отвечала она и, вздохнув, прибавила: — Проводите же меня домой.

У дверей своего дома она внимательно вгляделась в его расстроенное лицо и вдруг с отчаянием повернулась к нему и поцеловала его в лоб.

— До свиданья. Приходите скорей, — буркнула она, с ужасом глядя, как от ее поцелуя он весь расцвел, порозовел, и бодрой, молодцеватой походкой зашагал по улице.

2. Его прогулка.

Какой чудесный день! От реки легкий ветерок, солнце весенне-яркое. Прелесть! Если бы можно было провести этот день, как хочется! Без всяких идиотских романов, вздохов и психологий, а просто сговориться бы, скажем, с Мишкой Петуховым, да пойти пешком, скажем, в Сен-Клу, там в каком-нибудь кабачке закусить, дернуть по рюмочке, другой, третьей коньячку, отвести душу, поругать скаредов Поршевичей, мошенника Борискина, дуру Клопотову, все просто, душевно, уютно и радостно.

А тут эта пава насандалилась и выступает. Непо-

нятая натура! Нудная, как разваренная телятина. Идет и молчит. А ведь не зайди за ней в воскресенье, таких истерик наделает, что за неделю не расхлебаешь. А может быть и ничего? Надо как-нибудь храбрости набраться, да и ляпнуть сразу. Один конец. Повесится? Да, это именно такой тип. И смерть, наверное, выберет самую мерзкую, с высунутым языком. Ну вот и води ее, как серб обезьяну.

Она остановилась на мосту и стала смотреть на воду.

— Какой у нее унылый нос, — подумал он с отвращением. И чего уставилась. Наверное мысли о самоубийстве и прочая истерия. Вот навязалась!

— Пойдем, — сказал он. — Не надо так смотреть.

Какая тоска! И с каждым шагом раздражение все увеличивается.

— Зайдем в кафэ, — предлагает он.

Она отказывается. На зло, конечно. И чего она злится? Изволь ей все время в любви изливаться. Ведь родятся же такие Иродицы!

Она мельком взглянула на него и он с испуга схватил ее под руку. Предложил пойти в синема. Не хочет. Ну и чорт с ней.

Идут.

Невыносимо идут. Прямо зареветь можно.

— Посмотрите, песик бежит! — вдруг умилилась она.

— Ах ты старая перечница, — думает он. — «Песик бежит», нежности какие! «Песик». Какая, подумаешь, деточка, никогда не видала, как собака бежит. Прямо за человека стыдно.

А рожа у нее, между прочим, презлая. Ну да все равно, только бы не перешла на нежности.

— А помните нашу первую встречу?

Трах! Вот оно, началось!

Его так и передернуло. Заорать бы на всю улицу: «Помню, чорт тебя дери, эту встречу. По-о-омню! Уф, даже в жар кинуло. Что она там стрекочет?

— Вы не хотите разговаривать и тра-та-та и тра-та-та...

Ну, пошло! Успокою ее, как могу. Вот навязал себе на шею! Голова болит? Ну и слава Богу. Только бы не заманила к себе пассьянсы шлепать. И зачем столько ерунды на свете? Столько глупой, глупой ерунды!

У подъезда она вдруг поцеловала его в лоб.

— Дорогая, — пробормотал он, но кажется она не слышала. Ну и пусть не слышала. К чорту! Какое счастье, что у людей иногда голова болит! Какой простор, что болит, т. е. простор для другой головы, которая не болит.

Куда теперь? Да никуда. Просто вот так пошагать пешком вдоль набережной. Что за прелестный вечер! А ведь придется завтра же зайти. А то, кто ее знает, еще повесится. Право, никогда ни одной минуты нельзя быть спокойным с таким типом. Я человек добрый, мне это тяжело. Хотя может быть — вот грешная мысль! — может быть так было бы и не хуже.

БАНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Это, конечно, случается довольно часто, что человек, написав два письма, заклеивает их, перепутав конверты. Из этого потом выходят всякие забавные или неприятные истории.

И так как случается это большею частью с людьми рассеянными и легкомысленными, то они, как нибудь по-своему, по-легкомысленному и выпутываются из глупого положения.

Но если такая беда прихлопнет человека семейного, солидного, так тут уж забавного мало.

Тут трагедия.

Но, как ни странно, порою ошибки человеческие приносят человеку больше пользы, чем поступки и продуманные, и разумные.

История, которую я хочу сейчас рассказать, случилась именно с человеком серьезным и весьма семейным. Говорим «весьма семейным», потому что в силу именно своих семейных склонностей — качество весьма редкое в современном обществе, а потому особо-ценное — имел целых две семьи сразу.

Первая семья, в которой он жил, состояла из жены, с которой он не жил, и дочки Линочки, девицы молодой, но многообещающей и уже раза два свои обещания

сдерживавшей — но это к нашему рассказу не относится.

Вторая семья, в которой он не жил, была сложнее. Она состояла из жены, с которой он жил, и, как это ни странно — мужа этой жены.

Была там еще чья-то маменька и чей-то братец. Большая семья, запутанная, требующая очень внимательного отношения.

Маменьке нужно было дарить карты для гаданья и теплые платки. Мужу сигары. Братцу давать взаймы без отдачи. А самой очаровательнице Виктории Орестовне разные кулончики, колечки, лисички и прочие необходимости для женщины с запросами.

Особой радости, откровенно говоря, герой наш не находил ни в той, ни в другой семье.

В той семье, где он жил, была страдалица-жена, ничего не требовавшая, кроме сострадания и уважения к ее горю и изводившая его своей позой кроткой покорности.

— Лэди Годива, паршивая!

Кроме того, в семье, где он жил, имелась эта самая дочка Линочка, совавшая свой нос всюду, куда не следует, подслушивающая телефонные разговоры, выкрадывающая письма и слегка шантажирующая растерянного папашу.

— Папочка! Ты это для кого купил брошечку? Для меня или для мамочки?

— Какую брошечку? Что ты болтаешь?

— А я видела счет.

— Какой счет? Что за вздор?

— А у тебя из жилетки вывалился.

Папочка густо краснел и пучил глаза.

Тогда Линочка подходила к нему мягкой кошечкой и шепелявила:

— Папоцка! Дай Линоцке тлиста фланков на пьятице. Линоцка твой велный длуг!

И что-то было в ее глазах такое подлое, что папочка пугался и давал.

В той семье, где он не жил, у всех были свои заученные позы.

Сама Виктория «любила и страдала от двойственности». Ее муж, этот кроткий и чистый Ваня, не должен ничего знать. Но обманывать его так тяжело.

— Дорогой! Хочешь, лучше умрем вместе?

Папочка пугался и вез Викторию ужинать.

Поза чистого Вани была такова: безумно любящий муж, доверчивый и великодушный, в котором иногда вдруг начинает шевелиться подозрение.

Поза братца была:

— Я все понимаю, и потому все прощаю. Но иногда моральное чувство во мне возмущается. Моя несчастная сестра....

Для усыпления морального чувства приходилось немедленно давать взаймы.

Поза маменьки ясно и просто говорила:

— И чего все ерундой занимаются. Отвалил бы сразу куш, да и шел бы к чорту.

Все детали этих поз, конечно, герой этого печального романа не улавливал, но атмосферу неприятную и беспокойную чувствовал.

Но особенно неприятная атмосфера создалась за последнее время, когда к Виктории зачастил какой-то артист с гитарой. Он хрипел цыганские романсы, смотрел на Викторию тусклыми глазами, а она звала его ге-

ниальным Юрочкой и несколько раз заставляла папочку брать его с ними в рестораны под предлогом страха перед сплетнями, если будут часто видеть их вдвоем

Все это папочке остро не нравилось. До сих пор было у него хоть то утешение, что он еще не сдан в архив, что у него «красивый грех» с замужней женщиной, и что он заставляет ревновать человека значительно моложе его. А теперь, при наличности гениального Юрочки, который, кстати, уже два раза перехватывал у него взаймы, — красивый грех потерял всякую пряность. Стало скучно. Но он продолжал ходить в этот сумбурный дом, мрачно, упрямо и деловито — словно службу служил.

Странно сказать, но ему как-то неловко было бы перед своими домашними вдруг перестать уходить в привычные часы из дому. Он боялся подозрительных, а может быть и насмешливых, а то еще хуже — радостных взглядов жены и ехидных намеков Линочки.

В таких чувствах и настроениях застали его рождественские праздники.

Виктория разводила загадочность и томность.

— Нет, я никуда не пойду в сочельник. Мне что-то так грустно, так тревожно. Что же вы молчите, Евгений Павлыч? Вы слышите — я никуда не хочу итти.

— Ну, что-ж, — равнодушно отвечал папочка. — Не хотите, так и не надо.

Глазки Виктории злобно сверкнули.

— Но ведь вы, кажется, что-то проектировали?

— Да, я хотел предложить вам поехать на Монмартр.

— На Монмартр? — подхватил гениальный Юрочка. — Что-ж, это идея. Я бы вас там разыскал.

— А бедный Ваня? — спросила Виктория. — Я не хочу, чтобы он скучал один.

— А я свободен, — заявил братец. — Я мог бы присоединиться.

— А я могла бы надеть твой кротовый балдахин, — неожиданно заявила маменька.

— Да, но как же бедный Ваня? — настойчиво повторяла Виктория. — Евгений Павлович! Я без него не поеду.

— Ловко, — подумал Евгений Павлович. — Это значит волоки все святое семейство. Нашли дурака.

— Ну, что же, голубчик, — нежно улыбнулся он, — если вам не хочется, то не надо себя принуждать. А я, хе-хе, по-стариковски с удовольствием посижу дома.

Он взял ручку хозяйки, поцеловал и стал прощаться с другими.

— Я вам, то-есть вы мне все-таки завтра позвоните! — всколыхнулась Виктория.

— Если только смогу, — светским тоном ответил папочка.

Ему самому очень понравился этот светский тон. Так понравился, что он сразу и бесповоротно решил в нем утвердиться.

На следующее утро, утро сочельника, жена-страдалица сказала ему:

— Ты не сердись, Евгеша, но Линочка позвала сегодня вечером кое кого. Разумеется, совершенно запросто. Тебя, конечно, дома не будет, но я сочла нужным все-таки сказать.

— Почему ты решила, что меня не будет дома? — вдруг возмутился Евгений Павлович. — И почему ты берешь на себя смелость распоряжаться моей жизнью?

И кто, наконец, может мне запретить сидеть дома, если я этого хочу?

Выходило что-то из ряда вон глупое. Страдалица-жена даже растерялась. Ее роль была стоять перед мужем кротким укором. Теперь получалось, что он ее укоряет.

Она почувствовала себя в положении примадонны, у которой без всякого предупреждения отняли всегда исполняемую ею роль и передали артисту совершенно другого амплуа.

— Господь с тобой, Евгеша, — залепетала она. — Я, наоборот, страшно рада...

— Знаем мы эти радости! — буркнул папочка и пошел звонить по телефону.

Звонил он, конечно, к Виктории, но подошел к аппарату братец.

— Передайте, что очень жалею, но едва-ли смогу вырваться.

— То есть как это так? — грозно возвысил тон братец. — Мы уже приготовились, мы может быть отклонили массу приглашений! Мы, наконец, затратились.

Папочка затаил дыхание и тихонько повесил трубку. Пусть думает, что он уже давно отошел.

Но было тревожно.

Жена ходила по дому растерянная и как-то опасливо оборачивалась, втянув голову в плечи, точно боялась, что ее треснут по затылку. Шепталась о чем-то с Линочкой, а та пожимала плечами.

Папочка нервничал, поглядывал на телефон и бормотал тихо, но с чувством:

«Нет, в этот вырубленный лес

Меня не заманят.
Где были дубы до небес,
Там только пни торчат».

При слове «пни» с омерзением представлял себе Викторьину маменьку в кротовом «балдахине».

Вечером страдалица-жена, окончательно потерявшая платформу, попросила его купить коробку килек и десятка три мандарин.

Он вздохнул и прошептал:

«Теперь уж я на побегушках».

Пошел в магазин, купил мандарины и кильки и, уже уходя, увидел роскошную корзину, выставленную в витрине. Огромная, квадратная. В каждом углу, выпятив пузо, полулежали бутылки шампанского. Гигантский ананас в щитовидных пупырях, словно осетровая спина, раскинул пальмой свой зеленый султан. Виноград, крупный, как сливы, свисал тяжелыми гроздьями. Груши, как раскормленные рыхлые бабы в бурых веснушках, напирали на круглые, лоснящиеся рожи румяных яблок.

Потрясающая корзина!

И вдруг — мысль!

— Пошлю этой банде гангстеров. Вот это будет барский жест!

На минуту стала противна ясно представившаяся харя гениального Юрочки, хряпающая ананас. Но красота барского жеста покрыла харю.

Чудовищная цена корзины даже порадовала Евгения Павловича.

— Братец наверное справится у посыльного, сколько заплачено. Ха! Это вам не гениальный Юрочка. Это барин, Евгений Павлович.

Папочка достал свою карточку и надписал на ней адрес Виктории.

Но теперь приказчик уже никак не мог допустить, чтобы такой роскошный покупатель сам понес сверток с мандаринами. Он почти силой овладел покупкой и заставил Евгения Павловича написать на карточке свой адрес.

Ну, вот тут, на этом самом месте, и преломилась его судьба. Преломилась потому, что чахлые мандарины и плебейские кильки поехали к гангстерам, а потрясающая корзина прямо к нему домой и вдобавок так скоро, что уже встретила его на столе в столовой, окруженная недоуменно-радостными лицами страдалицы-жены, подлой Линочки, горничной Мари и даже кухарки Анны Тимофеевны (из благородных).

Потом пришли гости. Кавочка Бусова, веселая Линочкина подруга, подвыпив шампанского, пожала папочке под столом руку.

— Какая цыпочка! — умилился папочка. — И ведь это всего от одного бокала!

И тут же подумал, что был он сущим дураком, тратя время и деньги на нудную Викторию, у которой шампанское вызывало икоту.

- «Нет, в этот вырубленный лес...»

* *
*

Виктория долго выдерживала характер и не подавала признаков жизни.

Папочка отоспался, поправился и повеселел. Повел Кавочку в синема.

Наконец, гангстеры зашевелились — пришло письмо от братца.

«Если вас еще интересует судьба обиженной и униженной вами женщины, то знайте, что у ее брата нет весеннего пальто»

Папочка зевнул, потянулся и сказал бывшей страдалице-жене:

— А почему, ма шер, ты никогда не закажешь рассольника? Понимаешь? С потрохами?

На что бывшая страдалица, окончательно утратившая прежнюю платформу, отвечала рассеянно и равнодушно:

— Хорошо, как-нибудь при случае, если не забуду.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ

Мне кажется, что я конченный человек.

Я уверен, что ничто мне не поможет, никакие капли, ни даже кратковременный отпуск и поездка на юг.

Я соскочил с зарубки. Я четыре дня пью, а ведь я не пьющий. Я, положим, держу себя, как джентльмен, и даже не скандалю, но недалеко и до этого.

И как все это случилось, и почему? Я словно потерял себя.

Что же я за человек?

Вот брошу сам на себя посторонний взгляд.

Нормальный я? Конечно, нормальный. Даже более чем нормальный. Я даже черезчур хорошо владел собою. Если случалось, что меня оскорбят, я не только не скандалил, но даже, как чистейший джентльмен, в ответ только улыбался.

Я добр. Я, например, дал Пенину пятнадцать франков, зная, что тот не отдаст, и даже не попрекаю его.

Я не завистлив. Если кто-нибудь счастлив — чорт с ним, пусть счастлив, мне наплевать.

Я люблю чтение. Я развитой: я достал «Ниву» за тысячу восемьсот девяносто второй год и читал ее с увлечением.

Внешность у меня приятная. Лицо полное, спокойное.

Имею службу.

Словом, я — человек.

Что же со мной случилось? Почему мне хочется петь петухом, глушить водку. Конечно, это пройдет. И что же, собственно, случилось? Ведь этого даже рассказать никому нельзя. Это такая психология, от которой меня четыре дня трясет, а как подумаешь, особенно если начнешь рассказывать, то не получается ровно никакой трагедии. Так отчего же я пришел в такое вот состояние? Откуда такой психологический факт?

Теперь спокойно поговорим о ней. Именно спокойно. И тоже бросим на нее взгляд постороннего человека.

На взгляд постороннего человека она прежде всего ужасно высока ростом. Как у нас на Руси говорилось, «на таких коров вешать». Изречение народной мудрости, хотя где бывал такой случай, чтобы коров надо было вешать? Когда их вешают? Но довольно. Не хочется тратить время на тяжелые и сумбурные размышления.

Итак — она высока и нескладна. Руки болтаются. Ноги разъезжаются. Удивительные ноги — чем выше, тем тоньше.

Она никогда не смеется. Странное дело, но этот факт я установил только теперь, к финалу нашего бытия, а прежде не то, что не замечал (как этого не заметишь?), а как бы не понимал.

Затем нужно отметить, что она некрасива. Не то, что на чей вкус. На всякий вкус. И лицо обиженное, недовольное

А главное дело — она дура. Тут уж не поспоришь. Тут все явно и определенно.

И представьте себе — ведь и это открылось мне не сразу. Уж кажется бьет в глаза — а вот почему-то не поддалось мгновенному определению и баста. Может быть оттого, что, не предвидя дальнейшего, не останавливался мыслью на ее личности.

Теперь приступим к повествованию.

Познакомился я с ней у Ефимовых (от них всегда шли на меня всякие пакости). Она пришла и сразу спросила, который час. Ей ответили, что десять. Тогда она сказала:

- Ну, так я у вас могу просидеть ровно полчаса, потому что мне ровно в половине девятого нужно быть в одном месте.

На это Ефимов засмеявшись сказал, что уж торопиться нечего, все равно половина девятого прошла уже полтора часа тому назад.

Тогда она обиженным тоном сказала, что будет большая разница опоздает ли она на два часа или на три.

А Ефимов опять посмеивается.

— Значит, говорит, по-вашему выходит, что, например, к поезду опоздать на пять минут гораздо удобнее, чем на полчаса.

Она даже удивилась.

— Ну, конечно.

Я тогда еще не знал, что она дура и думал, что это она шутит.

Потом вышло так, что мне пришлось проводить ее домой.

По дороге выяснилось, что зовут ее Раиса Константиновна, что муж у нее шофер, а сама она служит в ресторане.

— Семейная жизнь у меня идеальная, — говорила

она. — Муж у меня ночной шофер. Я прихожу — его уже нет, а когда он возвращается, меня уже нет. Никогда никаких ссор. Душа в душу.

Я думал, она острит. Нет, лицо серьезное. Говорит, как думает.

Чтобы что нибудь сказать, спросил, любит ли она синема. А она в ответ:

— Хорошо. Зайдите, пожалуй, за мной в четверг.

Ну, что мне делать? Не могу же я ей сказать, что я ее не звал. Невежливо.

Ну и зашел.

С этого и началось.

Ведь какие странные дела бывают на свете!

Веду ее, поддерживаю под ручку.

— Вы, говорю, такая очаровательная.

Но ведь надо же что нибудь говорить.

А она в ответ:

— Я об этом давно догадалась.

— О чем? — удивляюсь я.

— О том, что ты меня любишь.

Так и брякнула. Я даже остановился.

— Кто? — говорю. — То-есть кого? — говорю. Одним словом, что?

А она эдак свысока:

— Не надо так волноваться. Не вы первый, не вы последний, и любовь вообще вполне естественное явление.

Я глаза выпучил, молчу. И, заметьте, все еще не понимаю, что она дура.

А она, между тем, развивает дальше свою мысль и развивает ее в самом неожиданном уклоне, но чрезвычайно серьезно.

— Мы, говорит, мужу ничего не скажем. Может быть потом, когда твое роковое чувство примет определенную форму. Согласись, что это важно.

Я ухватился обеими руками:

— Вот, вот. Ни за что не надо говорить.

— А я буду для тебя недосягаемой мечтой. Я буду чинить твое белье, читать с тобой стихи. Ты любишь творожники? Я тебе когда нибудь приготовлю творожники. Наша близость должна быть, как сон золотой.

А я все:

— Вот именно, вот именно.

И, откровенно говоря, эта ее идея насчет штопки мне даже, так сказать, сверкнула своей улыбкой. Я человек одинокий, безалаберный, а такая дамочка, которая сразу проявила женскую заботливость, это в наше время большая редкость. Конечно, она несколько экзальтированно поняла мой комплимент, но раз это вызвало такие замечательные результаты, как приведение в порядок моего гардероба, то можно только радоваться и благодарить судьбу. Конечно, она мне не нравится, но (опять-таки народная мудрость!) — с лица не воду пить, а с фигуры и подавно.

Я ей на прощанье обе ручки поцеловал. И потом, ночью, обдумав все это приключение, даже сам себе улыбнулся. В моей одинокой жизни можно только приветствовать появление такой чудесной женщины. Вспомнил и о творожниках. И это ведь не дурно. Очень даже недурно.

Решил, значит, что все недурно и успокоился.

А на другой день прихожу со службы, открываю дверь — а она сидит у меня в номере и сухари принесла.

— Я, говорит, обдумала и решилась. Говори мне «ты»

— Помилуйте! Да я не достоин.

— Я, говорит, разрешаю.

Вот чорт! Да мне вовсе не хочется.

Я и уперся.

— Не достоин и баста.

А она все говорит и говорит. И на самые различные темы. И все такие странные вещи.

— Я, — говорит, — знаю, что ты страдаешь. Но страдания — облагораживают. И смотри на меня, как на высшее существо, на твой недосягаемый идеал. Не надо грубых страстей, мы не канибалы. Поэт сказал: «Только утро любви хорошо». Вот я принесла сухари. Конечно, у них нет таких сухарей, как у нас, чуевские У них дрянь. Они даже не понимают. Знаешь, я в тебе больше всего ценю, что ты русский. Французы ведь совершенно не способны на возвышенное чувство. Француз, если женится, так только на два года, а потом измена и развод.

— Ну, что вы? С чего вы это взяли? Да я сам знаю много почтенных супругов среди французов.

— Ну, это исключение. Если не разошлись, значит просто им нравится вместе деньги копить. Разве у них есть какие нибудь запросы? Все у них ненатуральное. Цветы не натуральные, огурцы с полено величиной, а укропу и совсем не понимают. А вино! Да вы у них натурального вина ни за какие деньги не достанете. Все подделка.

— Да что вы говорите! — завопил я. — Да Франция на весь мир славится вином. Да во Франции лучшее вино в мире.

— Ах, какой вы наивный! Это все подделка.

— Да с чего вы взяли?

— Мне один человек все это объяснил.

— Француз?

— Ничего не француз. Русский.

— Откуда же он знает?

— Да уж знает.

— Что же он, служит у виноделов, что ли?

— Ничего не у виноделов. Живет у нас на Вожираре.

— Так как же он может судить?

— А почему же не судить? Четыре года в Париже. Наблюдает. Не всем так легко глаза отвести, как например вам.

Тут я почувствовал, что меня трясти начинает.

Однако, сдерживаюсь и говорю самым светским тоном:

— Да он просто болван, этот ваш русский.

— Что-ж, если вам приятно унижать свою кровь...

— Его и унижать не надо. Болван он.

— Ну, что-ж — целуйтесь с вашими французами. Вам может быть и говядина ихняя нравится. А где у них филей? Где огузок? Разве у них наша говядина? Да у ихних быков даже и частей таких нет, как у наших. У нас были черкасские быки. А они о черкасском мясе и понятия не имеют.

Не знаю, в чем тут дело, но меня это почему то ужасно рассердило. Я не француз и обижаться мне нечего, а тем более за говядину, но как-то расстроило это меня чрезвычайно.

— Простите, говорю, Раиса Константиновна, но я так выражаться о стране, приютившей нас, не позволю.

Я считаю, что это с вашей стороны некрасиво и даже неблагодарно.

А она свое:

— Заступайтесь, заступайтесь! Может быть вам даже нравится, что у них сметаны нет? Не стесняйтесь, пожалуйста, говорите прямо. Нравится? Вы готовы преклоняться? Вы рады топтать Россию.

И такая она стала омерзительная, длинная, рот перекошенный, лицо бледное.

— Топчите, топчите Россию!

И что тут со мной произошло, — сам не знаю. Только схватил я ее за плечи и заорал козлиным голосом:

— Пошла вон, ду-ура!

Я так орал, что соседи в стенку стукнули. Всего меня трясло.

Она еще на лестнице визжала что-то про Россию. Я не слушал. Я топтал ногами ее сухари. И хорошо сделал, потому что, если бы выбежал за ней, я бы с ней прикончил. Потому что во мне в этот миг сидел убийца.

Я был на волосок от гильотины. Потому что, как объяснишь французским присяжным русскую дуру?

Этого они понять не смогут. Вот этого французы действительно не могут.

Это им не дано.

ДЖЕНТЛЬМЕН

В этот замечательный день они встретились, совершенно случайно, на пересадке в метро Трокадеро. Она пересаживалась на Пасси, а он, как говорится, «брал дирексьон на Сен-Клу». И как раз в коридоре, у откидного железного барьерчика, бьющего зазевавшихся по животу, они и встретились.

От неожиданности она уронила сумку, а он крикнул: «Варя!» и, сам испугавшись своего крика, схватился обеими руками за голову. Потом они кинулись друг к другу.

Она (чтобы было ясно, почему он так взволновался) была очень миленькая, курносенькая и смотрела на мир Божий веселыми, слегка припухшими глазками через белокурые колечки волос, наползавшие на брови. И одета была кокетливо, старательно, вся обшитая какими-то гребешками и петушками.

Он (чтобы было понятно, почему она уронила сумку) был высокий, элегантный господин с пробором, начинающимся от самой переносицы. Так что даже под шляпу этот исток пробора спрятать было трудно. Галстучек, пошетка, носочки — все в тон. Немножко портило дело выражение лица — оно было какое-то не то растерян-

ное, не то испуганное. Впрочем, это уж пустяки и мелочи.

Итак — они кинулись и схватили друг друга за руки.

— Значит, вы рады, что встретили меня? — залепетала дама. — Правда? Правда рады?

— Безумно! Бозумно! Я... я люблю вас! — воскликнул он и снова схватился за голову. — Боже мой, что я делаю! Ради Бога, простите меня! Неожиданная встреча... я потерял голову! Я никогда бы не посмел! Забудьте! Простите! Варвара Петровна!

— Нет, нет! Вы же назвали меня Варей! Зовите меня всегда Варей... Я люблю вас.

— О-о-о! — застонал он. — Вы любите меня? Значит, мы погибли.

От волнения он шепелявил. Он снял шляпу и вытер лоб.

— Все погибло! — продолжал он. — Теперь мы больше не должны встречаться.

— Но почему же? — удивилась Варя.

— Я джентльмен и я должен заботиться о вашей репутации и о вашей безопасности. Вдруг ваш муж что нибудь заметит? Вдруг он оскорбит вас подозрением? Что же мне тогда — пулю в лоб? Как все это ужасно!

— Подождите, — сказала Варя. — Сядем на скамейку и потолкуем.

Он пошел за ней с жестами безграничного отчаяния и сел рядом.

— А если нас здесь увидят?

— Ну, что за беда, — удивилась Варя. — Я вот вчера встретила на Пастере Лукина и мы с ним полтора часа проболтали. Кому какое дело.

— Так то так! — трагически согласился он. — Но вы забываете, что ни он в вас, ни вы в него не влюблены. Тогда как мы... Ведь вся тайна наших отношений всплывает наружу. Ведь что же тогда — пулю в лоб?

— Ах, что за пустяки! Василий Дмитрич! Голубчик! Мы только время теряем на ерунду. Скажите еще раз, что вы любите меня. Когда вы полюбили меня?

Он оглянулся по сторонам.

— В четверг. В четверг полюбил. Месяц тому назад, на обеде у мадам Компот. Вы протянули руку за булкой и это меня словно кольнуло. Я так взволновался, что схватил солонку и насыпал себе соли в вино. Все ахнули: «Что вы делаете?» А я не растерялся. Это я, говорю, всегда так пью. Ловко вывернулся? Но зато теперь, если где нибудь у общих знакомых обедаю или завтракаю, всегда приходится сыпать соль в вино. Нельзя иначе. Могут догадаться.

— Какой вы удивительный, — ахала Варя. — Вася, милый!

— Подождите! — перебил ее Вася. — Как вы называете вашего мужа?

— Как? Мишей, конечно.

— Ну, так вот я вас очень попрошу: зовите меня тоже Мишей. Так вы никогда не проговоритесь. Столько несчастий бывает именно из-за имени. Представьте себе — муж вас целует, а вы в это время мечтаете обо мне. Конечно, невольно вы шепчете мое имя. «Вася, Вася, еще!» Или что нибудь в этом роде. — А он и стоп: «Что за Вася? Почему Вася? Кто из наших знакомых Вася? Ага! Куриков! Давно подозревал!» и пошло, и пошло. И что же нам делать — пулю в лоб? А если вы привыкнете звать меня Мишей (ведь я же и в самом

деле мог бы быть Мишей — все зависит от фантазии родителей), привыкнете звать Мишей, вам и чорт не брат. Он вас целует, а вы мечтаете обо мне и шепчече про меня — понимаете — про меня «Миша, Миша». А тот дурак радуется и спокоен. Или, например, во сне. Во сне я всегда могу вам присниться, и вы можете пролепетать мое имя. А муж тут, как тут. Проснулся, чтоб взглянуть на часы, да и слушает, да и слушает. «Вася? Что за Вася?» Ну, и пошло. Я джентльмен. Я — что же — я должен себе пулю в лоб?

— Как у вас все серьезно! — недовольно пробормотала Варя. — Почему же у других этого не бывает. Все влюбленные зовут друг друга по именам и никаких бед от этого не бывает, наоборот, — одно удовольствие.

— Боже мой, как вы неопытны. Да половина разводов основывается на этих Васиньках и Петиньках. Зачем? К чему? Раз этого так легко избежать.

— А вы не боитесь проговориться? Ведь назвали же вы меня сегодня Варей, вдруг и опять назовете?

— Нет, уж теперь не назову. Это случилось потому, что наши отношения были неясны и нам самим неизвестны. А теперь, когда я, как джентльмен, должен быть на-чеку и думать о вас, только о вас, дорогая (простите, что я вас называю дорогой, это тоже глупая неосторожность) теперь я вас не подведу.

— А как же вы меня будете называть — это любопытно? Вы ведь не женаты. Ну-с?

— Гм... Я живу один, то-есть с мамашей. Я мог бы называть вас мамашей, понимаете? — привычка, человек живет с мамашей, ну, ясно, что и обмолвится. Понимаете? Я ничем не рискую, если в разговоре с вами назову вас «мамаша, дорогая». Если кто услышит, по-

думает «вот вспомнил человек свою маму», и все будет вполне естественно.

— Ну, это, знаете ли, прямо уж чорт знает что такое! Какая я вам мама! Вы меня еще бабусей величать начнете. Глупо и грубо.

— Ах, дорогая, то есть Варвара Петровна. Ведь это же я исключительно из джентльменства.

— Вы будете завтра на юбилее доктора Фогельблата? Знаете, я по секрету попросила распорядителя посадить нас рядом. Муж будет сидеть с комитетом, а мы поболтаем. Я ужасно рада, что догадал....

— Что вы наделали! — воскликнул Вася. — Теперь мне уж абсолютно нельзя будет пойти на банкет. Конечно, если бы у нас были прежние, чисто-дружеские отношения, это было бы даже очень мило. Но теперь — это немыслимо. Какая обида! Деньги я уже внес, а пойти не могу. Разве вот что: позвоню-ка я сам к распорядителю и, будто ничего не знаю, попрошу его посадить меня непременно, скажем, с докторшей Сициной. А? Идея?

— А если он скажет, что я просила посадить вас со мной?

— Гм... А я притворюсь, что даже забыл, кто вы такая. Это, скажу, какая такая Варвара Петровна? Это та жирная, которая ко всем лезет? Понимаете? Нарочно отнесусь отрицательно. То есть, даже не к вам, а как будто все перепутал. Такая, скажу, грязная и прыщавая. Понимаете? Чтобы было ясно, что я даже не знаю, о ком речь идет.

— Ну, это уж, простите, совсем глупо, — вспыхнула Варя. — Распорядитель Пенкин сколько раз видел

вас у меня, как может он поверить, что вы вдруг меня не знаете?

— Ну, я, знаете, так о вас отзовусь, что он поверит. Что нибудь исключительно грубое. Уж я сумею, я найдусь, не бойтесь.

— Да я вовсе не желаю, чтобы вы обо мне говорили всякие гадости.

— Дорогая! То-есть, Варвара Петровна, то-есть, бабуся — ффу! Запутался. Хотел начать привыкать и запутался. Дорогая мама! Ведь это же для вас, для вас. Неужели вы думаете, что мне приятно, что мне не больно сочетать ваше имя с разными скверными прилагательными? Ничего не поделаешь — надо. Значит, я сяду рядом с докторшей. Мало того — я окину присутствующих небрежным взглядом, кивну вам свысока головой и пророню. Понимаете? Именно пророню, процежу свысока сквозь зубы. Все свысока и кивну, и процежу: «Ах, и эта дура здесь». Вот уж тогда эта самая докторша не только никогда не поверит в нашу близость, да и других то всех разуверит, если кто нибудь начнет подозревать. Конечно, мне это очень тяжело, но чего не сделаешь для своей дамы. Я рыцарь. Я джентльмен. Я вас в обиду не дам. И вообще, если в обществе начнется о вас разговор — можете быть спокойны — я вас так распишу, что уж никому в голову не придет, что вы мне нравитесь. Я все высмею: вашу внешность — ха-ха, скажу, эта Варька — задранный нос! Конечно, мне будет больно. Ваш туалет, ваши манеры. «Туда же, скажу, пыжится, журфиксы устраивает. Ей бы коров доить с ее манерами, а не гостей принимать». Ну, словом, я уж там придумаю. «И еще, скажу, воображает, что может нравиться. Ха-ха!» Словом, мамаша, можете быть

спокойны. Вашу честь я защищу. Бывать у вас я, конечно, лучше не буду. «Вот еще, скажу, не видал я ее заваляшего печенья из Uniprix, по полтиннику фунт». «Вообще, скажу, эти ее курносые журфиксы». Словом, что нибудь придумаю. Боже, как все это тяжело и больно. Что? Что? Я не понимаю, что вы говорите? М-мамаша?

— К чорту! Вот что я говорю! — крикнула Варя и вскочила со скамейки. — Убирайтесь к чорту, идиот шепелявый. Не смейте итти за мной, гадина!

Она быстро повернулась и побежала по лестнице.

— Ва... то-есть, ма.... — лопотал Вася в ужасе. — Что же это такое? Почему так вдруг, в самый разгар моей жертвенной любви? Или, может быть, она увидела кого нибудь из знакомых и разыграла сцену? Это умно, если так. Очень умно. Прямо даже замечательно умно. Если кто видел — сразу подумает: «Эге, этот гсподин ей не нравится». А потом, если и увидит нас вместе в обществе, он уже не будет нам опасен. Это с ее стороны очень умно. Хотя наверное ей было больно так грубо говорить с любимым существом. Но что поделаешь? Надо.

Он сунул руки в карманы и, беспечно посвистывая, чтобы никто ничего не подумал, стал спускаться с лестницы.

— Я люблю и любим, — думал он. — Вот это и есть счастье. Только нужно быть осторожным. Иначе что же? — Пулю в лоб?

ЧУДО ВЕСНЫ

Светлый праздник в санатории доктора Лувье был отмечен жареной курицей и волованами с ветчиной.

После завтрака больные прифрантились и стали ждать гостей.

К вечеру от пережитых волнений и непривычных запрещенных угощений, принесенных потихоньку посетителями, больные разнервничались. Сердито затрещали звонки, выкидывая номера комнат, забегали сиделки с горячей ромашкой и грелками, и заворчал успокоительный басок доктора.

— Зачем все они терзают меня своей любовью! — томной курицей кудахтала в номере пятом испанка с воображаемой болезнью печени. — Зачем мне эти букеты, эти конфеты? — Ведь они же знают, что я умираю. Позовите доктора, пусть он даст мне яду и прекратит мои мучения.

В номере десятом рантьерша мадам Калю запустила стаканом в кроткую и бестолковую свою сиделку Мари. Ее, мадам Калю, никто не навестил, да она и не разрешила ни мужу, ни детям показываться ей на глаза. А злилась она оттого, что вопли испанки ее раздражали.

Она, собственно говоря, не была больна. Она спаслась в санаторию от домашнего хаоса.

— Не надо сердиться! — кротко уговаривала ее Мари. — Надо быть паинькой, надо кушать суп, чтобы скорее поправиться и ехать домой, где бедный маленький муж скучает о своей маленькой женке и детки плачут о своей мамочке.

Мадам Калю вспомнила о своем муже, плешивом подлеце, содержавшем на ее счет актрисенку из «Ревю», — вспомнила сына, подделавшего под векселями ее подпись, дочь, сбежавшую к пузатому банкиру, и бросилась с кулаками на кроткую Мари.

Но больше всего досталось в этот вечер русской сиделке, безответной и робкой Лизе. Вверенный ей здоровенный больной, греческий генерал, во-первых, объелся страсбургским паштетом, а во-вторых, поругался с женой. Вручая этот самый паштет, жена сказала ему, что он вислоухий дурак и притворщик и что на те деньги, которые он тратит на лечение, она могла бы поехать в Монте-Карло.

Генерал вопил, что он умирает и требовал морфия. Лиза успокаивала его, как могла, но он стучал на нее кулаком.

— Вы старая дева! Безнадежная старая дева и, конечно, в ваших глазах спокойствие важнее всего. А я полон сил и обречен на гибель!

Почему он обречен на гибель, он и сам не знал. Не знала и Лиза и, отвернувшись, заплакала.

И слезы ее подействовали на него магически. Он сразу развеселился, забыл о морфии и попросил касторки.

У него была особого рода неврастения: при виде

какой-нибудь неприятности, приключавшейся с другими, меланхолия его мгновенно сменялась отличнейшим настроением. Когда, однажды, в его присутствии горничная свалилась с лестницы и сломала себе ногу, он весь день весело посвистывал и даже собирался организовать домашний спектакль.

Да. Странные болезни бывают на белом свете...

Ночью Лиза долго не ложилась, вздыхала, разбирала старые открытки с болгарскими видами, исписанные русскими буквами. Потом сняла со стены фотографию лысого бородатого господина и долго вопросительно на нее смотрела.

❦

На другое утро, прибрав своих больных, она спустилась вниз.

Толстая кроткая Мари спешно допивала свой кофе.

— Я сейчас иду на станцию, — сказала она. — Нужно получить пакет.

Лиза вышла за ней на крыльцо.

— Я, пожалуй, сбегаю с вами, — сказала она, слегка ежась от свежего, сильного весеннего воздуха.

— Вы простудитесь, — сказала Мари. — Накиньте что-нибудь.

— Нет, так отлично!

Пасха была ранняя.

Деревья в ясном холодном небе купали тонкие свои, чуть розовеющие, наливающиеся соками прутики.

Длинная, сухая прошлогодняя трава порошила сквозной щетинкой плотный, ядовито-зеленый газон.

Облака кудрявились, как на наивной картинке в детской книжке. И все было такое новое, непрочное, и не-

известно было, останется ли, окрепнет ли в настоящую весну, или только мелкнет обещанием и снова уйдет в отходящую зиму.

И это ярко раскрашенное небо, и обещающие жизнь розовеющие цветочки, и то, что она так по-молодому, легкомысленно, выбежала в одном платье, все это вдруг ударило Лизу весенним вином прямо в сердце. Желтое лицо ее порозовело, страдальческие морщинки около рта разгладились и вялые губы улыбнулись бессмысленно-счастливо.

— Я всегда такая! Мне все все равно! — звонко сказала она и удало тряхнула головой.

Мари с удивлением поглядела на нее. Она служила в санатории всего второй месяц и мало встречалась с Лизой.

— Да, вы, русские, совсем особенные, — сказала она. — Оттого все в вас и влюбляются.

Лиза засмеялась задорно и весело.

— Ну, знаете ли, влюбляются действительно, но далеко не во всех.

Было в ее тоне что-то многозначительное. Так как-то вышло, без всякого умысла, потому что она вовсе не на себя намекала.

Весенний воздух пьянил, веселил. Проходя мимо сложенных вдоль дороги бревен, Лиза вскочила на поваленную толстую липу и, балансируя руками, пробежала и спрыгнула.

— Какая вы ловкая! — ахнула Мари. — Как молоденькая!

Лиза обернулась. Ее лицо раскраснелось, волосы выбились из под косынки.

Проходивший мимо почтальон закричал:

— Браво! Браво!

Лиза бросила ему лукавый взгляд.

— Ах, какая же вы шалунья! — восторженно удивлялась Мари. — Я всегда думала, что вы такая тихонькая, а вы такой чертенок. Наверное, все больные от вас без ума!

— Ну уж и все! — кокетливо улыбалась Лиза. — Далеко не все. Почтальон! Постойте. Нет-ли у вас письма на имя мадемуазель Лиз Корнофф?

Почтальон, посматривая на нее блестящим глазком и пошевеливая усами, стал рыться в сумке.

— А уж он и рад, что вы с ним болтаете! — шептала Мари, радостно волнуясь.

— Мадемуазель Кор-нофф. Так? — спросил почтальон и подал Лизе открытку.

Лиза взглянула на розового зайца, несущего в лапках синее яйцо с золотыми буквами Х.В. Марка была болгарская, но письма она без очков прочесть не могла. Да это и не было важно. Важно было, что после почти трехмесячного перерыва она получила поздравление, что она не забыта и что все то, что она начинала считать умершим, потерянным навсегда, еще жило и обещало и звало.

Она сунула открытку в карман передника и весело засмеялась. А когда подняла глаза, увидела прямо перед собой молодое вишневое деревцо, словно в каком-то буйствующем восторге всего себя излившее в целый гимн белых цветов. Маленькое, хрупкое и выбрызнуло столько красивой радости прямо к небу, к солнцу, к сердцу.

— От «него»? — спросила Мари, указывая глазами на торчащую из кармана открытку.

Лиза засмеялась и пренебрежительно махнула рукой.

— Старая история! Не хочет понять, что мне моя свобода дороже всего. Мы вместе служили в госпитале. Он — врач. Должен был тоже приехать во Францию, но задержался и конечно в отчаянии.

— А вы ? — спросила Мари, сделав заранее сочувствующее лицо.

— Я?

Лиза передернула плечами и засмеялась.

— Я, дорогая моя, люблю свободу.

И, обнажив широкой улыбкой свои длинные желтые зубы, пропела фальшивым голоском:

« L'amour est un enfant de Bohême

Qui n'a jamais, jamais connu de loi... »

— Это из «Кармен!»

— Какая вы удивительная! А скажите, этот ваш греческий генерал наверное тоже к вам неравнодушен?

Лиза презрительно пожала плечами.

— Неужели вы думаете, что я стану обращать внимание на чувства такого ничтожного человека?

— Удивительная женщина! — думала добродушная Мари. — И не красива и не молода, а вот умеет же сводить с ума! Ах, мужчины, мужчины, кто поймет, что вам нужно?

А Лиза бежала походкой смелой и быстрой, какой никогда у себя не знала, и смеялась, удивляясь, как она до сих пор не видела, что жизнь так легка и чудесна.

Вернулись в санаторию немножко усталые, и горничная сразу крикнула Лизе:

— Бегите скорее к вашему генералу. Он так ругается, что с ним сладу нет.

Лизе очень хотелось сбегать к себе за очками, чтобы узнать наконец о чем чудесном сообщает ей розовый заяц. Но медлить она не посмела и пошла в комнату номер девятый, затхлую, прокуренную, где злой человек, с одутлым лицом долго ругал ее старой ведьмой, жабой и дармоедкой.

Шторы в комнате были опущены и небо за ними умерло.

Потом привезли новую больную, потом приехал профессор...

Лиза уже не улыбалась. Она только тихонько дотрагивалась до кармана, где лежала открытка и тихо сладостно вздыхала. Все небо, все чудо весны было теперь здесь, в этом маленьком кусочке тонкого картона.

И только вечером, после обеда, быстро взбежав по лесенке в свою комнату и закрыв дверь на задвижку, она блаженно вздохнула:

— Ну, вот! Наконец то!

Надела очки, села в кресло, чтобы можно было потом долго-долго думать...

Милый знакомый почерк... И как много написано! Ого! Не так то, видно, скоро можно меня забыть!

«Дорогая Лизавета Петровна, — писал знакомый почерк, — простите за долгое молчание. Причины к тому были важные. Не удивляйтесь новости: я на старости лет женился, да еще на молоденькой. Но когда познакомитесь с моей женой, то поймете меня и не осудите, такая она прелестная. Она вас знает по моим рассказам и уже полюбила.

Искренне преданный Вам

Н. Облуков.

P. S. Ее зовут Любовь Александровна. Н. О.».

БЛАЖЕННЫ УШЕДШИЕ

Началось с того, что Балавин встретил на станции метро Сорокина и наскоро — так как они бежали в разные стороны — сообщил ему о скоропостижной смерти Мурашева.

— Да что вы! Быть не может! Когда? Отчего? Кто вам сказал? — взволновался Сорокин.

— Да только что на пересадке в Трокадеро мне сказал один знакомый. Сегодня утром неожиданно захворал, отвезли в больницы, он и скончался.

— Что за ужас! Третьего дня был жив и здоров.

— Чего же тут удивляться, — философски сказал Балавин. — Он наверное и за две минуты до смерти был жив.

— Постойте, — перебил его Сорокин. — А жене дали знать?

— Да нет, она куда то уехала, он кажется и сам не знал еще ее адреса. Она еще и написать ему не успела. Так, по крайней мере, мне сказали.

— Ну я то, положим, знаю ее адрес. Совершенно случайно. От Петруши Нетово. Это, конечно, между нами. Петруша с ней вместе в Жуан-Ле-Пэн.

— Да что вы? Интересная дамочка?

— Так себе. Но вы, конечно, как джентльмен, надеюсь, никому ни слова.

— Ну, за кого вы меня считаете. Так вот, раз вы во все посвящены, дайте ей телеграмму. А то, подумайте, какой может разыграться скандал. Она, может быть, и газет не читает и будет разводить веселый романчик, а мужа в это время давно похоронили и она вдова. Да и Петруша ваш может быть совсем не расположен ухаживать за свободной женщиной.

— Н-да, — сказал Сорокин. — В ваших словах есть некоторая доля подкладки. Я, пожалуй, возьму на себя печальный долг. Пошлю телеграмму. Хотя сегодня как раз безумно занят. Надо бы заехать к нему на квартиру.

— Да там ведь наверное никого и нет. Он умер в больнице.

— Ну, тем лучше. До свиданья. Увидимся на похоронах? Вот жизнь человеческая: живешь, живешь, а потом смотришь и умер.

В смятенном душевном состоянии поднялся Сорокин из метро, продолжая размышлять на тему горестной судьбы человеческой.

— Хорошо еще, что эта пакость со всеми случается. А то вдруг бы только со мной. Ужасно было бы неприятно. А бедная Наташа Мурашева! Лазурное море, влюбленный Петруша, перед обедом аперитивы, наверное нашила себе тряпочек, накрутила шапочек и вдруг — стоп. Вдова. Черный креп. Петруша скорби не любит. Утирать слезы вдовам и сиротам — это не его дело.

Pardon, monsieur!

Это pardon относилось не к Петруше и вдовам, а к господину, которого он в рассеянности чувств ткнул лок-

тем в бок. Пострадавший обернулся и оказался вовсе не мосье, а Сергей Петрович Левашов.

— А, здравствуйте! — сказал Сергей Петрович. — Чего вы такой мрачный?

— Я? Я-то ничего, — отвечал Сорокин. — А вот бедный Мурашев. Слышали? Сегодня утром скоропостижно скончался.

— Да что вы! — ахнул Левашов. — Господи! Четыре дня тому назад... да, да, в пятницу он забегал ко мне по делу. Вы не знаете — это не самоубийство?

— Нет, не думаю.

— У него, кажется, очень расстроены были дела. Я знаю, что ему до зарезу нужны были деньги.

— Не знаю, не слыхал. Все может быть. Теперь какая-то эпидемия самоубийств. До свиданья. Безумно спешу.

Он побежал на телеграф.

— Боже мой! — думал он. — Неужели и правда это самоубийство? Такой кажется был спокойный, приятный человек. Жаль, что я так мало обращал на него внимания. Все больше вертелся около этой дурынды Наташи. Может быть, какого друга я в нем потерял! И еще подхихикивал, когда дурында укатила с Петрушей Нетово разводить роман. Бедный, бедный Мурашев! Может быть, если бы я дружески подошел к нему, ласково, внимательно, я бы сумел отговорить его от ужасного шага. Я сказал бы: «Дорогой, жизнь прекрасна, плюнь на все!» Нежно сказал бы: «Гони свою дуру к чорту». Ах, во время сказанное ласковое слово может воскресить и вернуть к жизни. И вот его нет. Ушел в небытие.

На почте Сорокин испортил четыре телеграфных

бланка. Хотел составить телеграмму сначала осторожную, потом деловитую и, наконец, решил мстить негоднице и быть жестоким.

Окончательная редакция телеграммы была такова:

«Venez vite stop votre malheureux mari suissidé stop horreur.

Sorokine».

Подумал, что добросовестнее было бы телеграфировать, что умер, раз самоубийство еще не установлено, но потом решил, что так ей будет больнее. Очень уж раскалился.

А в это время Левашов, уныло опустив голову, шел к себе домой.

— Это ужасно, — думал он. — Надеюсь, что это все таки не самоубийство. Но ведь не мог же я в самом деле святым духом знать, что его положение так безвыходно. Допустим, что я согласился бы дать ему эти несчастные четыре тысячи — очевидно, это его не спасло бы, раз положение было так уж серьезно. Это паллиатив. Короткая отсрочка, а затем что? Затем либо опять выручай, либо снова вопрос о самоубийстве. Нельзя же так, господа. Не обязан же я в самом деле... А с другой стороны, если бы я дал ему эти деньги, может быть он и вывернулся бы. Надо было дать. Он сделал вид, что мой отказ не особенно огорчил его, но теперь то я вижу какой выход был у него на уме. Надо было дать. Теперь, конечно, не вернешь. Тяжело. Очень тяжело. Но разве мог я знать? Если бы знал, так конечно...

***

Море, солнце, джаз, пижамы без спины, загар красный, загар бурый, загар оливковый.

Но Мурашевой не до того. Не до джаза и не до загара.

Она сидит у себя на балкончике и тупо смотрит на мятый клочек синей бумаги, с наклеенными на нем белыми полосками. На белых полосках бездушный аппарат выстукал жестокие строки, составленные мстительным Сорокиным.

У Мурашевой красный нос и красные глаза. Она уже два раза плакала. Она очень огорчена. Тем более, что вот уже два дня, как она стала с нежностью думать о муже. Потому что без нежности думала о Петруше Нетово.

Петруша Нетово оказался не на высоте. Она четыре раза сказала ему, что муж опаздывает с присылкой денег, а он, как говорится, хоть бы бровью повел. В последний раз она даже не поскупилась на некоторую инсценировку: ничего не ела за завтраком, а был между прочим омар по-американски, которого она очень любила, и вообще хотелось есть. А он вместо того, чтобы забеспокоиться и спросить в чем дело, на что и последовал бы с ее стороны ответ о муже и деньгах, он только вскользь сказал:

— Что же вы не едите? Увлекаетесь худением?

Какой болван! Разве можно его сравнить с Мишей? Миша все таки заботливый. И она променяла его на такого селезня! Бедный Миша! Он даже вида не показал, что ему неприятен был ее отъезд. Конечно, он догадался или кто нибудь открыл ему глаза. И вот он, без злобы, без упрека, гордо и красиво ушел из жизни. О, может быть, он еще жив? Опасно ранен, но жив? Она бы выходила его и всю жизнь, всю жизнь...

В дверь стукнули и вошел Петруша.

— Что случилось?

Она взглянула на него с ненавистью:

— Муж все узнал и покончил с собой.

Петруша тихо свистнул и опустился на стул.

— Что же теперь?

— Уезжаю с вечерним поездом.

Петруша снова свистнул.

— Уходите! — крикнула Мурашева и громко с визгом заплакала.

* * *

Отослав телеграмму, Сорокин отправился прямо домой. Нужно было еще пойти по кое-каким делам, но он так себя настроил и расстроил, что решил дела отложить, а подождать дома назначенные на сегодня rendez-vous.

Сидел, ждал, думал о смерти и мучился за Мурашева.

Покончив с делами и проводив посетителей, он уже приготовился было поехать на квартиру Мурашева расспросить хоть консьержку о подробностях, как вдруг телефон донес до него голос Балавина, того самого, который сообщил ему утром печальную весть.

— Голубчик! Идиотская ошибка! Умер не Мурашев, а Парышев, тоже мой знакомый. А Мурашев жив и здоров и сейчас заходил ко мне занимать деньги.

— Ну, вы, надеюсь, не дали? Как все это глупо! — сердито оборвал его Сорокин. — Чего же вы путаете, людей с толку сбиваете. А я телеграмму послал. Бедная Наташа там наверное с ума сходит. Пошлю сейчас другую. До чего все это глупо.

Ему стало жаль Наташу. Молоденькая женщина, в

первый раз в жизни вырвалась. Так понятно. Этот Мурашев олицетворенная хандра. Сам, небось, не застрелился, а ее, пожалуй, при случае пристрелит. Нужно позвонить Левашову, а то он как будто расстроился.

**
*

После телефонной беседы с Сорокиным, Левашов, иронически смеясь сам над собой, думал:

— Нет, милый мой, такие не стреляются. Наверное еще десять раз прибежит попрошайничать. Хорошо сделал, что не дал. Дать раз, потом не отвяжешься. И, наконец, я же не виноват, что они не умеют устраивать свои дела. Придет еще раз — не приму его и кончено. Так проще всего.

**
*

Петруша Нетово уныло укладывал в чемодан свои вещи. Он не хотел оставаться один в Жуан Ле Пэн. Он был расстроен.

— Глупо все это. Из-за такой ерунды погиб хороший человек. Если бы она не лезла ко мне, он мог бы быть моим другом. Из них двух во всяком случае он интереснее. Конечно, в другом роде, но все же. И зачем нужно было затевать эту поездку? Сидели бы в Париже. Несчастный человек. Так погибнуть ни за что. И я даже не замечал, что он догадывается. Как он умел скрывать свое горе. Гордая, красивая душа! О, если бы я мог заплакать, мне было бы легче.

— Петруша! Петруша! — кричала Мурашева, вбегая в комнату Нетово. — Петруша! Ура! Все напутали. Вот телеграмма. Этот болван преспокойно жив. Вот читай:

« Ochibka stop Mouracheff give et zdorove stop privete Petrouché zeloujou ruchki·

Vache Sorokine ».

— Как я рада. «Зелую рюшки». Значит все благополучно. Хорошо все-таки, что он жив. Я, конечно, не люблю его, потому что я вся твоя, но все эти трагедии так противны. Ну, поцелуй же меня и бежим со мной в Казино.

И Петруша поцеловал ее и побежал с ней в Казино.

БАБЬЯ ДОЛЯ

Наружность у Маргариты Николаевны была, что называется, интересная. Можно было изучать ее часами и все равно ничего не понять.

Какой, например, она масти? Волосы у нее темно рыжие в локонах, желтые на висках, красные на темени, вишневые на затылке.

Где правда? Куда смотреть с доверием? Куда со снисхождением к женской слабости? Куда с осуждением? Куда с восторгом?

Брови черненькой ниточкой без волос — как пигмент. Ресницы синие. Ноздри сиреневые. Губы оранжевые. Зубы фарфоровые, голубоватые с золотом.

И весь этот хаос и игра красок озаряются мудрым выражением тусклых серых глаз. Глазам пятьдесят четыре года.

У Маргариты Николаевны репутация умной женщины. К ней приходят за советом в психологически трудную минуту. Исключительно женщины. В материально-трудную минуту к ней не приходят. Вполне логично. Раз она умная, значит денег не даст.

Маргарита Николаевна садилась на диван спиной к свету, психологически запутанную даму сажала лицом к окну — от чего не только душевные, но и физиче-

ские ее тайны вылезали наружу — и задавала наводящие вопросы.

Иногда после двухчасовой беседы совет являлся совершенно простым и очень коротким:

— Да плюньте и все тут.

— То есть как так плюнуть? — удивлялась запутанная женщина. — Ведь он же однако безумствовал, он возил меня четыре раза обедать. У меня было столько неприятностей от мужа, приходилось врать и ему, и дочке, и... и, наконец, Андрею Петровичу, который очень страдает. Так же нельзя. Как говорится — за что боролись?

— Плюньте, плюньте и плюньте! — спокойно повторяла Маргарита Николаевна. — Я понимаю все. Он вас бросил и вы в отчаянии. Когда человек в отчаянии, он должен прежде всего плюнуть.

— А я специально для него купила шляпу с голубем.

— Шляпу с голубем амортизируйте в смысле Саблукова. Он ведь вам нравился.

— Да, но ведь это не то.

— И слава Богу, что не то.

— А вы знаете, что этот негодяй теперь ухаживает за Кротовой. Она дура и урод и совершенно мне не нравится.

— А вам нужно, чтоб человек выбирал вам соперницу непременно по вашему вкусу?

— Ну, знаете, все таки не так обидно, если изменил из-за красавицы. А то променял на урода.

— Напротив, гораздо обиднее, если из-за красавицы. С уродом нет-нет, да о вас и вспомнит с удовольствием, а с красавицей, если и вспомнит, так только вам же к невыгоде.

— Все таки все это очень трудно пережить! — вздыхает покинутая.

— А что же, он был очень интересен, этот тип?

— Он? Интересен? Да вы смеетесь надо мной! Это такое ничтожество, такой негодяй! Плечи косые, ноги кривые, морали никакой, манталитета ни малейшего. Тощища с ним адовая. Сама не знаю, как я могла столько времени с ним вытерпеть. Четыре раза — подумайте только! — четыре раза обедала. Прямо дурман какой то. И обеды длинные, в пять блюд с кофием. Ведь все это надо было вытерпеть. Молчит и ест. Жует, как овца — нижней челюстью из стороны в сторону. И при этом, заметьте, — никакой морали. Я даже не понимаю, почему я так страдаю от его измены. Ну добро бы красавец, темпераментный, светский. Такая дрянь, да еще, изволите ли видеть, охладел. Охладевшая дрянь. А я расстраиваюсь. И почему?

— Дорогая моя, — говорит Маргарита Николаевна. — Если сидишь под деревом и птичка испортила тебе шляпку, то тебе совершенно безразлично, что это за птичка — соловей или ворона. Так вот. Изменил ли тебе шекспировский Ромео или приказчик из башмачной лавки — одинаково неприятно.

— Ну все таки стерпеть обиду от приказчика труднее.

— Наоборот. Тут по крайней мере есть сознание, что он не мог понять тонкой натуры и оценить изящной красоты.

— Так что же мне делать?

— Плюнуть, дорогая моя. Иначе — сама понимаешь — только хлопоты, да расход. Покинутая женщина прежде всего бежит в «институ де ботэ». Для поднятия

духа, это во-первых, а во-вторых из-за надежды, что если негодяй увидит ее в новом, освеженном виде, так ахнет и вернет ей свое сердце.

Затем покинутая женщина с той же целью и по той же причине бежит к портнихе и к шляпнице и тратит деньги на туалеты и шляпы. Так вот, подумайте сами. Огорчение, в конце концов, пройдет само собой. Ведь не думаете же вы всю жизнь оплакивать вероломство такого ничтожного типа.

— Ну еще бы! Того еще не хватало!

— Ну вот, я и говорю. Все пройдет, а деньги за платья плати. И за шляпы плати. И все без толку. Так уж лучше плюнуть.

— Все это хорошо, — вздохнула покинутая женщина, — но нервы от этих неприятностей очень расстраиваются.

— Надо клин клином вышибать. Тебе изменили, так и ты измени.

— Да так скоро, как говорится, не подберешь. И потом все таки еще живы отголоски прошлого.

— Ничего. С отголосками легко справиться. Попей валерьянки.

— Пила-а.

— Еще попей.

— И еще пила-а.

— Ну, так пойди к нервному доктору.

Покинутая женщина задумалась.

— Вот Лиза Раканова ходила.

— Ну что же, помог?

— Очень даже.

— А что с ней было?

— Муж удрал с балериной. Ну она, конечно, очень

страдала. Главным образом, было обидно, что балерина тяжело прыгала. Это даже критика отметила. Ну вот от этого обстоятельства она особенно остро страдала. Ну и пошла к нервному доктору. Рассказала ему про свою беду. Он ее страшно пожалел, даже по руке погладил и тоже насчет валерьянки очень горячо говорил. Потом, видит, что совет этот не принимается, он и говорит, вот как вы сейчас: «Если он такой подлец, что вам изменяет, так и вы ему измените».

Ну она, конечно, «ах, ах! Как это возможно, я его так любила, я себе прямо представить не могу».

А он, доктор то, говорит:

— И ничего тут нет страшного. — Да трах, трах, трах, взял да и поцеловал ее. — Что, говорит, ведь не страшно?

— А что же это за трах-трах? — спросила Маргарита Николаевна, удивленная странным звукоподражанием.

— А это так говорится. Просто для изображения неожиданности.

— Ну и что же?

— Ну и ничего. Развелась с мужем и вышла замуж.

— За этого самого доктора?

— Нет, что-ж так мрачно. За какого-то инженера.

— Да, нервные доктора они иногда очень помогают. — задумчиво проговорила Маргарита Николаевна. — Наука сильно шагает вперед.

— Не знаю только, счастлива ли она во втором браке. Если опять на бабника попала, так не долго счастье протянется.

Маргарита Николаевна посмотрела на покинутую женщину очень строго и сказала:

— Ну уж это, милая моя, вы оставьте. Бабников вам в обиду не дам.

— Ну чего же в них хорошего? — возмутилась покинутая. — Сегодня ухаживает за мной, а вчера ухаживал за другой, а завтра будет ухаживать за третьей. Ведь это же возмутительно. А послезавтра еще за другой.

— И отлично, — спокойно решила Маргарита Николаевна. — Если бы он всегда ухаживал за другой, так на твою долю никогда бы ничего и не досталось.

И действительно, нам, средним женщинам, только и радости, что от бабников. И как можно превозносить однолюба? Однолюб — да ведь это самый ужасный тип. Для него, конечно, очень удобно. Один раз раскачался, полюбил, и никаких хлопот. Сиди и страдай. Но для окружающих какая картина! Тошнота то какая. Ни на кого не смотрит, буркнет что нибудь себе под нос и в десять часов спать пойдет.

Бабник рюмочку коньячку выпил и пошел кренделя выписывать. Комплимент направо, комплимент налево, той, которая визави, закрутит тухлый глаз, — молчу, мол, но страдаю. И всем весело, и всем хорошо.

К однолюбу не подступиться. Любезности не жди. Комплимент считает изменой идеалу. Если с однолюбом пошутить, он посмотрит исподлобья, покраснеет и станет искать свою шляпу.

Уходит домой раньше всех. А дома страдалица-жена, отославшая его одного под предлогом головной боли, спешно подбирает чьи то окурки и переставляет в комнате предметы в симметрическом порядке.

И там, значит, от однолюба заботы и горе.

Бабник у себя дома не засиживается. Вечно ему

куда нибудь бежать надо. Поэтому жена его присутствие ценит. а отсутствие употребляет с пользой для себя.

Кроме того, бабник существо абсолютно безопасное. Никогда он не разведет никакой трагедии. Для него все легко. Измены прощает охотно, не всегда даже и замечает их. В переживание не углубляется. Ревнует ровно постольку, поскольку это женщине льстит. Не то что притворяется или сдерживается, а просто таков по натуре.

Однолюб любит философствовать, делать выводы и чуть что — сейчас обвиняет, и ну палить в жену и детей.

Потом всегда пытается покончить и с собой тоже, но это ему почему то не удается, хотя с женой и детьми он промаха не дает.

Впоследствии он объясняет это тем, что привык всегда заботиться в первую голову о любимых существах, а потом уж о себе. «Кое как, да как нибудь. Сам я всегда на втором плане».

— Да, милочка, — закончила свою речь Маргарита Николаевна. — Никогда не браните бабников и бойтесь однолюбов.

Покинутая подумала, вздохнула и спросила с сомнением:

— А может быть мне влюбиться в Шуриного мужа? Я ему нравлюсь.

— В дурака Митеньку? Ну, милая, таких штук никогда делать не следует. Это грех прямо против десятой заповеди.

— Как десятой? Седьмой. Не прелюби то в седьмой.

— В седьмой — там вообще. а в десятой прямо указывается: «не пожелай себе осла ближнего твоего».

Увлечь Митеньку! Да ведь это все равно, что с чужого двора осла свести. Некрасиво.

— Так как же... снова начала покинутая.

Но Маргарита Николаевна остановила ее властным жестом и сказала проникновенно:

— Плюнь.

АТМОСФЕРА ЛЮБВИ

Начало той истории, которую я хочу вам рассказать, довольно банально — дама позвала к себе в гости тех людей, которые, по ее мнению, ее любят и поэтому никаких неприятных моментов ей не доставят.

Собрать таких людей, между прочим, вовсе не так то просто. Ну, вот вы, например, знаете, что такой то Иван Андреевич очень многим вам обязан, но чувствует ли он к вам благодарность — это еще вопрос. Может быть, именно терпеть вас не может за то, что многим вам обязан? Разве этого не бывает?

И вот та дама, о которой идет речь, долго обдумывала и решила, что позвать можно только тех, кто отдал ей когда-то кусок души. Человек никогда не забывает того места, где зарыл когда-то кусочек души. Он часто возвращается, кружит около, пробует, как зверь лапой. поскрести немножко сверху.

Это, впрочем, касается скорее мужчин. Женщины существа неблагодарные. Человека, который от них отошел, редко вспоминают тепло. О том, с которым прожили лет пять и прижили троих детей, могут отозваться примерно так:

— И этот болван, кажется, воображал, что я способна на близость с ним!

Мужчины относятся благодарнее к светлой памяти прошедшего романа.

Итак, дама, о которой идет речь, решила пригласить четырех кавалеров. Двое из них принадлежали ее прошлому, один настоящему и один будущему.

Первый из принадлежащих прошлому был не кто иной, как разведенный муж этой самой дамы. Когда то он очень страдал, потом переключил страдание на безоблачную дружбу, женился и, когда новая жена надоела, опять переключился на умиленную любовь к прежней жене. Выражалось это в том, что он приходил к ней иногда завтракать и дарил ей десятую часть на Национальную лотерею. Звали его Андреем Андреичем.

Второй из прошлой жизни был тот, из-за которого пришлось развестись. Он был давно переключен на дружбу, однако, полную обожания и благодарности за незабываемые страницы — конечно, с его стороны. Его приглашали в дождливую погоду для тихих разговоров и чтения вслух. Он умел красиво говорить, он играл на гитаре, вздыхал и брал взаймы небольшие суммы. Звали его Сергей Николаич.

Принадлежащий настоящему был Алексей Петрович. Как и полагается герою текущего романа, он был подозрителен, ревнив, всегда встревожен, всегда готов закатить скандал. Словом — в его чувстве сомнений быть не могло.

Человек будущего был дансер Вовочка. Вовочка еще был в стадии мечтаний и желаний, в эпохе комплиментов и моментов. Он был чрезвычайно мил.

Словом, вся компания, весь мажорный аккорд из четырех нот, обещал быть приятным, радостным, поднимающим настроение и дающим сознание своих жен-

ственных сил. А у каждой женщины известных лет (которые вернее было бы называть «неизвестными») бывают такие настроения, когда нужно поднять бодрость духа. А ничто так не поднимает этот упавший дух, как атмосфера любви. Чувствовать, как тобой любуются, как следят за каждым твоим движением влюбленные глаза, тогда все в чуткой женской душе — прибавленные за последние дни два кило веса и замеченные морщины в углах рта — исчезает, выпрямляются плечи, загораются глаза, и женщина смело начинает смотреть в свое будущее, которое сидит тут же, подрыгивает ногой и курит папироску.

Итак, дама, о которой идет речь — звали даму Марья Артемьевна — пригласила этих четырех кавалеров к обеду.

Первым пришел — олицетворяющий настоящее — Алексей Петрович. Узнав, кто еще приглашен, выразил на лицо своем явное неодобрение.

— Странная идея! — сказал он. — Неужели эти люди могут представить какой нибудь интерес в обществе? Впрочем, это дело ваше.

Он стал задумчив и мрачен и только имя Вовочки вызвало на лице его улыбку.

— Милый молодой человек. И вполне серьезный, несмотря на свою профессию.

Марья Артемьевна немножко как будто удивилась, но удивление своего не выказала.

Словом, все обещало итти, как по маслу, и началось действительно хорошо.

Бывший муж принес конфеты. Это было так мило, что она невольно шепнула ему:

— Мерси, котик.

Второй представитель прошлого, Сергей Николаич, принес фиалки, и это было так нежно, что она и ему невольно шепнула:

— Мерси, котик.

Вовочка ничего не принес и так мило сконфузился, видя эти подарки, что она от разнеженности чувств шепнула и ему тоже:

— Мерси, котик.

Ну, словом, все было прелестно.

Конечно, Андрей Андреич покосился на фиалки Сергея Николаича — но это было вполне естественно. А Сергея Николаича покоробило от конфет Андрея Андреича — и это было вполне понятно. Разумеется, Алексею Петровичу были неприятны и цветы, и конфеты — но это вполне законно. Вовочка надулся — но это так забавно!

Пустяки — пусть поревнуют. Тем веселее, тем ярче.

Она чувствовала себя веселой пчелкой, королевой улья среди гудящих любовью трутней.

Сели за стол.

Зеленые щи с ватрушками. Коньяк, водка. Все разогрелись, разговорились.

Марья Артемьевна, розовая, оживленная, думала:

— Какая чудесная была у меня мысль позвать именно этих испытанных друзей. Все они любят меня и ревнуют, и это общее их чувство ко мне соединяет их между собой.

— А ватрушки сыроваты, — вдруг заметил Алексей Петрович, представитель настоящего, и даже многозначительно поднял брови.

— Н-да! — добродушно подхватил бывший муж. — Ты, Манюрочка, уж не обижайся, а хозяйка ты никакая.

— Ну-ну, нечего, — весело остановила их Марья Артемьевна. — Вовсе они не так плохи. Я ем с большим удовольствием.

— Ну, это еще ничего не значит, что вы едите с удовольствием, — довольно раздраженно вступил в разговор Сергей Николаич, тот самый, из-за которого произошел развод. — Вы никогда не отличались ни вкусом, ни разборчивостью.

— Женщины вообще, — вдруг вступил в разговор Вовочка, запнулся, покраснел и смолк.

– Ну, господа, какие вы, право, все сердитые! — рассмеялась Марья Артемьевна.

Ей хотелось поскорее оборвать этот нудный разговор и наладить снова нежно-уютную атмосферу.

Но не тут то было.

— Мы сердитые? — спросил бывший муж. — Обычная, женская манера сваливать свою вину на других. Подала сырое тесто она, а виноваты мы. Мы, оказывается, сердитые.

Но Марья Артемьевна все еще не хотела сдаваться.

— Вовочка, — сказала она, кокетливо улыбаясь представителю будущего. — Вовочка, неужели и вы скажете, что мои ватрушки нельзя есть?

Вовочка под влиянием этой нежной улыбки, уже начал было и сам улыбаться, как вдруг раздался голос Алексея Петровича:

— Мосье Вовочка слишком хорошо воспитан, чтобы ответить вам правду. С другой стороны, он слишком культурен, чтобы есть эту ужасную стряпню. Надеюсь, дорогая моя, вы не обижаетесь?

Вовочка нахмурился, чтобы показать сложность

своего положения. Марья Артемьевна заискивающе улыбнулась всем по-очереди, и обед продолжался.

— Ну, вот, — бодро и весело говорила она. — Надеюсь, что этот матлот из угрей заставит вас забыть о ватрушках.

Она снова кокетливо улыбалась, но на нее уже никто не обращал внимания. Бывший муж заговорил с Алексеем Петровичем о банковских делах. Разговор их заинтересовал Сергея Николаича так сильно, что хозяйке пришлось два раза спросить у него, не хочет ли он салата. В первый раз он ничего не ответил, а на второй вопрос буркнул:

— Да ладно, отстань!

Эту неожиданную реплику услышал Вовочка, покраснел и надулся.

Марья Артемьевна почувствовала, что ее будущее в опасности.

— Вовочка, — тихонько сказала она, — вам нравится мое жабо? Я его надела для вас.

Вовочка чуть-чуть покосился на жабо, буркнул:

— Толстит шею.

И отвернулся.

Ничего нельзя было с ним поделать.

А те трое окончательно сдружились. Хозяйка совершенно перестала для них существовать. На ее вопросы и потчеванье они не обращали никакого внимания и раз только бывший муж спросил, нет ли у нее минеральной воды, причем назвал ее почему то Сонечкой и даже сам этого не заметил.

Они, эти трое, давно уже съехали с разговора о банковских делах на политику, и очень сошлись во взглядах. Только раз скользнуло маленькое разногласие —

Андрей Андреич слышал от одного француза, что большевики падут в сентябре, а Сергей Николаич знал сам от себя, что они должны были пасть еще в прошлом марте, но по небрежности и безалаберности, конечно, запоздали.

С политики перехали на анекдоты, которые рассказывали друг другу на ухо и долго громко хохотали.

Потом им надоело шептаться, и Андрей Андреич сказал Марье Артемьевне:

— А вы, душечка, пошли бы на кухню и присмотрели бы за кофе, а то выйдет, как с ватрушками. А мы бы здесь пока поговорили. Удивляюсь, как вы сами никогда ни о чем не догадываетесь.

И все на эти слова одобрительно загоготали.

Марья Артемьевна, очень обиженная, ушла в спальню и чуть-чуть всплакнула.

Когда она вернулась в столовую, оказалось, что гости уже встали и, отказавшись от кофе, куда то очень заторопились.

— Мы хотим еще пройти на Монпарнасс, куда нибудь в кафэ, подышать воздухом, — холодно объяснил хозяйке Алексей Петрович и глядел куда то мимо нее.

Весело и громко разговаривая, стали они спускаться с лестницы.

— Вовочка! — почти с отчаянием остановила Марья Артемьевна своего дансера. — Вовочка, еще рано! Останьтесь!

Но Вовочка криво усмехнулся и пробормотал:

— Простите, Марья Артемьевна, было бы неловко перед вашими мужьями.

И бросился вприскочку вниз по лестнице.

ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

Многие наверное помнят те традиционные праздничные рассказы, которые печатались в газетах и журналах в рождественских и пасхальных номерах.

А те, кто их не читал, те, конечно, знают по наслышке, так как рассказы эти столько раз высмеивались.

Темы этих рассказов были специальные.

Для рождественского — замерзающий мальчик, или ребенок бедняка на богатой елке.

Для пасхального рассказа полагалось возвращение блудного мужа к жене, одиноко тоскующей над куличем. Или возвращение блудной жены к брошенному мужу, обливающему одинокими слезами бабу.

Примирение и прощение происходило под звон пасхальных колоколов.

Таковы были строго выбранные и установленные темы.

Почему дело должно было происходить именно так — неизвестно. Муж с женой отлично могли бы помириться и в ночь под Рождество, а бедный мальчик вместо елки мог бы также трогательно разговеться среди богатых детей.

Но обычай вкоренился так прочно, что и подумать об этом было нельзя. Возмущенные читатели стали бы

писать негодующие письма, и тираж журнала пошатнулся бы непременно.

Даже крупные писатели покорялись этому обычаю. Заказывали такому писателю рождественский рассказ — он писал рождественский. Заказывали пасхальный — тоже знал, что от него требуется.

Даже такой утонченный писатель, как Федор Сологуб, писал на пасхальные темы с примирением супругов под звон колоколов. Впрочем, было в Сологубе много тайной иронии и любил он иногда как бы нарочно, как бы издеваясь над самим собой и над заискивающими перед ним в тот период издателями, взять да и подвернуть пошленькую тему.

Но вот, после этого предисловия, расскажу я вам самый настоящий пасхальный рассказ, автором которого является сама жизнь. Можно подумать, что начиталась жизнь всяких пасхальных сентиментальных выдумок, да и решила:

— Нет, господа писатели, все это так, да не так. Вот я вам сейчас изображу все, как надо.

Постараюсь передать рассказ в том виде, в каком рассказала его жизнь.



Нина Николаевна прижалась плечом к Андрееву. Он взял ее под руку и стал протискиваться через толпу.

— Какая масса народу всегда на этих заутрепях, — сказала Нина Николаевна. — Ничего не видно, ничего не слышно, в церковь не пробраться, топчешься на улице и знакомых не разыскать.

— Иностранцев масса, — сказал Андреев. — Им любопытно.

Гудел тяжелый колокол.

Лица, озаренные снизу теплым розовым огоньком свеч, казались совсем не обычными, с темными провалами глаз, широкими дугами бровей и резко очерченным ртом.

Огромные «солнца» кинематографических аппаратов освещали толпу, стоящую на ступенях храма, и медленно льющуюся струю крестного хода.

— Пойдем домой! — сказала Нина Николаевна. — Начинает дождь накрапывать.

— Хочешь сегодня разговляться? — спросил Андреев.

— Да у меня ничего особенного нет. Кулич, пасха, ветчина, колбаса из русской лавки.

— Ну чего же еще! Прямо пир горой. Значит ты меня приглашаешь?

Нина Николаевна и Андреев очень сошлись характерами. Может быть потому, что встречались только по вечерам, после работы и времени еле хватало на выражение нежных чувств, так что о том, чтобы как следует поругаться и мечтать было нечего.

Нина Николаевна была очень мила и уютна. Андреев был человек не сложный, отнюдь не раздираемый всякими проклятыми вопросами и запросами, жил на свете просто, ел, пил, служил и водил свою даму в кино. Воротнички носил свежие и даже чистил ногти.

Человек с такими чудесными качествами и который явился на жизненном пути Нины Николаевны так во время, как раз в такую минуту, когда именно такой человек нужен, — не мог не завладеть ее сердцем. А минута их роковой встречи была та самая, когда муж Ни-

ны Николаевны неврастеник самого подлого типа (визгун, пила, нытик) заявил ей, что они никогда не поймут друг друга и ушел, хлопнув дверью.

Почему он сказал «под занавес» такую неудачную фразу — неизвестно. На самом деле, именно оттого они и ссорились, что очень хорошо друг друга понимали. Она понимала, что он лентяй и бездельник, который злится, что у него нет денег, чтобы сидеть в бистро и развивать перед каким-нибудь случайным слушателем всякие свои ерундовые, всегда желчные мысли.

Он понимал, что ей хочется принарядиться и пойти в кино.

А больше в обоих понимать было абсолютно нечего.

И вот, когда дверь за ним захлопнулась, она вспомнила, что забыла попрекнуть его, что когда он был осенью болен, так она три ночи не спала.

Живо вскочив с места и распахнув дверь, чтобы крикнуть ему вниз по лестнице, что он неблагодарная свинья, она столкнулась лицом к лицу с очаровательным господином в пестрой пижаме, который, открыв дверь своего номера, выставлял за порог сапоги.

Как потом выяснилось, возбужденное и пламенеющее лицо Нины Николаевны поразило его.

— Экспрессия и темперамент неописуемые- — говорил он.

На другое же утро он робко постучал к ней и спросил, не беспокоит-ли ее, что он по ночам курит.

Она выразила изумление.

— Через стену разве это может иметь значение?

— Ах, не говорите! — сказал он. — Парижские постройки такие зыбкие. Здешний бетон такой пористый,

все впитывает. И я бы никогда не простил себе, если бы вы из-за меня пострадали.

И пошло и пошло. На другой день он уже знал, что она больше не верит в любовь и навсегда останется одинокой, а она знала, что он никогда не любил и любить не будет.

Выяснив это, он с ее согласия переехал в номер, находящийся по другую сторону от ее комнаты, потому что в этом номере была дверь в ее комнату.

Муж Нины Николаевны так и не вернулся.

Раза два писал ей длинные письма, в которых сообщал, что он никогда не сможет ее простить, но за что именно, так и не объяснил. Зато излагал очень подробно свои взгляды на психологию современного человека и требовал от этого человека непременного совершенствования и как можно скорее.

— Мир задыхается! — восклицал он.

Нине Николаевне письма его очень не нравились.

— Эдакий болван, — думала она. — Написал бы лучше, нашел-ли службу.

Но время шло. Андреев, с которым некогда было ссориться, стал казаться пресноватым.

— Синема да синема. Никаких запросов, — думала она о нем уже с некоторым раздражением.

И письма мужа, валявшиеся на дне рабочего ящика, начали ей больше нравиться.

— Это все-таки был человек незаурядный. Может быть я действительно была перед ним виновата?

Портретов мужа у нее не было. Была одна старая карточка еще жениховских времен, с хохлом на лбу и вдохновенными глазами. И глядя на него, Нина Нико-

лаевна мало по малу стала забывать пухлую желтую харю последних времен своей супружеской жизни



Двери отельчика еще не были заперты, когда они подошли к дому.

Девица-бюро сидела за конторкой и, увидя Нину Николаевну, сказала вполголоса, покосившись на Андреева:

— Мосье сидит в комнате мадам.

Нина Николаевна сначала не поняла, о ком речь.

— Мосье — ваш муж, — внушительно сказала девица и опять покосилась на Андреева.

Нина Николаевна замерла.

— Идите к себе, — сказала она вполголоса. — Мы потом объяснимся. Муж вернулся.

Тот метнулся было к ней, хотел что-то сказать, но только растерянно развел руками и побежал вверх по лестнице, шагая через две ступеньки.

Нина Николаевна медленно, с тяжело-бьющимся сердцем стала подниматься. Закрыв глаза, постояла минутку перед дверью.

— Вернулся! Вернулся! Он вернулся! Боже мой! Я, кажется, его люблю!

Она тихо открыла дверь и остановилась.

За столом сидел пухлый желтый человек и с аппетитом ел ветчину.

— Простите, — сказал он спокойно. — Я тут не дождался вас и подзакусил.

Она растерянно смотрела и не знала, что ей делать. Сняла шляпу. Положила ее на кровать. Подвинула стул к столу. Села.

Он скользнул по ней глазами, вытер рот, закурил и спросил деловито:

— У вас чаю нет? Я бы выпил чашку.

— Сейчас, — сказала она дрожащим голосом и пошла за перегородку готовить чай.

— Как все это удивительно! — думала она. — Как в сказке! Вернулся в пасхальную ночь. И как он гордо владеет собою. Но что будет с Андреевым? Трагедия... Вернулся! Как сон... Съел мою ветчину... Как сон. Что же это в конце концов — любовь, или что?

Когда она снова подошла к столу, он задумчиво жевал кулич, намазывая на него пасху.

— Ну-с, как же вы живете? — спросил он довольно равнодушно. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Я много передумал за это время и решил вас простить. В конце концов вы не виноваты в том, что ваши родители были глупы и передали вам это неудобное качество. Что поделаешь? Если бы вы еще были очень красивы и могли бы красотой покрыть свои духовные дефекты — было бы, конечно, легче. Вы не должны обижаться. Я говорю не для того, чтобы обидеть вас, а для того, чтобы вы уяснили себе ваше положение в мире. Вы наверное никогда не задумывались о своем положении в мире? Такое существо, как вы, чтобы оправдать свое существование, должно быть жертвенным. Должно служить существу высшего порядка, натуре избра́нной.

Он затянулся папиросой, развалился в кресле и, засунув руки в карманы, продолжал.

— Я сейчас разрабатываю один план в грандиозно-европейском масштабе. Нужен сильный и быстрый разворот. Постарайтесь следить за моей мыслью. Н-да. Сильный и быстрый разворот. В грандиозно-европей-

ском масштабе. Я, конечно, не думаю поселиться вместе с вами. Меня снова засосало бы мещанство. Но я вас простил и даю вам возможность быть полезной и мне и моему делу. Короче говоря — есть у вас пятьдесят франков?

***

Она открыла окно, чтобы выветрить табачный дым. Прислушалась

Ей казалось, что в воздухе еще гудит пасхальный звон. Нет, это был рожок автомобиля.

Прибрала на столе.

Щеки горели. Но на душе было спокойно и даже как-то уютно. Вероятно, школьник, которому долго грозили наказанием и в конце концов выпороли, — так себя чувствует.

Смела со скатерти крошки, унесла грязную тарелку, подправила фасон пасхи — будто она просто маленькая, а не то, что кусок (здоровенный!) уже съеден. Пригладила волосы и постучала к Андрееву.

Он тотчас откликнулся и вошел надутый, обиженный, не знающий, как себя держать.

Она усадила его за стол и, сделав фатальное выражение лица (брови подняты, глаза опущены, губы сжаты), до утра рассказывала ему про мужа, как этот безумец рыдал, умолял ее простить и вернуться, соблазнял ее своим великолепным положением и крупным заработком:

— Пятьдесят франков в день гарантированных.

Но она отвергла его. И если он застрелится, то:

— Верь мне, — ни одна фибра моего лица не дрыгнет.

И Андреев смотрел на фибры ее лица, с которых слезла пудра, и думал:

— Это фатальная женщина. Нужно от нее подальше.

РАССКАЗ ПРОДАВЩИЦЫ

И какие только в нашей женской судьбе бывают странности и даже несправедливости. Так, можно сказать, что, например, в животном царстве вы никогда ничего подобного не увидите.

Ну вот, например, история с Бертой Карловной. Ну, где вы что подобное, если рассуждать правильно, могли бы встретить? Ведь это прямо, если нарочно стараться, так и то не выдумаешь.

Я ведь все это знаю, все на моих глазах было. Мы ведь с ней вместе в Париж приехали. Я, тетенька и она. Приехали и стали, конечно, искать, куда бы приткнуться.

Тетенька скорее всех нашла занятие — в одной тентюрлюрли на чулках подымать петли. Очень и мне советовала приняться за это дело, потому что, если большая тентюрлюрли, так можно шутя двадцать франков в день заработать. Половину, конечно, придется отдать самой тентюрлюрлирше, а десять франков это уж обеспечено.

Но я, короче говоря, на это не соблазнилась. Какой, подумаешь, сахар молоденькой девушке в тридцать лет замариноваться на чужих петлях. Кругом столица мира, а ты сиди, как лошадь, в тентюрлюрли с утра до ночи.

Повидали мы кое кого из наших, из русских, которые раньше нас приехали и уже устроились. Так они прямо руками на нас замахали.

— Разве, говорят, это карьера для современной девицы? Теперь, говорят, одна карьера только и есть на свете.

— Какая же, спрашиваем, карьера.

— Холливуд.

— Чего такого?

А они опять:

— Холливуд.

Мы думали, что это может быть какой нибудь мужчина. Ну, однако, парижанки все нам объяснили.

Прежде всего — брови долой. Лоб чтобы был голый, а там рисуй на нем, что хочешь. Волосы надо выбелить, лицо, конечно, выкрасить. А потом, если повезет, можно устроиться в Холливуд.

Но тут выяснилось, что бывает в Париже женская судьба и без Холливуда, что богатые англичане, когда достигнут почтенного возраста, очень начинают любить русскую душу. И если русская душа к лицу припаряжена, и подмазана, и подщипана, то судьба ее устраивается не только прочно, но даже и законно.

Наслушалась я этих наставлений, да и говорю моей Берте Карловне:

— Ты, милая моя, как хочешь, а я буду метить на Холливуд. Там можно легко миллион в день заработать.

А Берта уперлась.

Между прочим, рожа она, короче говоря, ужасная. Росту большого, спина круглая, что нывается — котом, лопатки торчат, ручищи, что грабли, лицо длинное и под носом усы. Даже не похожа на немку, бровастая какая

то. Думаю, между прочим, что если ее забелить, да ощипать, так она, пожалуй, еще страшнее стала бы. На Холливуд ей, значит, дороги нет. На англичанина тоже вряд ли пути ей открыты, потому что душа у нее не русская. Хоть и родилась она в России, а говорит как-то не ладно. К каждому слову все что-то «всяко-ж», да «всяко-ж». Будто и не по-русски.

Заложила я теплое пальто и мамочкино колечко, пошла в парикмахерскую, разделала себя под Холливуд. С непривычки как будто и некрасиво. Волосы белые, морда от них сизая, вместо бровей опухоли. Но действительно вид стал модный, а это, говорят, самое главное.

Ну, стали мы с подружкой, с Берточкой, хлопотать о месте. Я сначала решила было не торопиться. Если пригласят в Холливуд, так не стоит поступать на служоу, а потом живо бросить. Только нервам трепка.

Посидела недельки две, да вижу дело идет туго. Никто даже и не интересуется, что у меня брови щипанные. А ведь я, не пито, не едено, отвалила парикмахеру за весь этот Холливуд сорок шесть франков, да два на чай.

Между тем, Берта Карловна нашла себе место. Кассиршей в конфетном магазине. Очень была довольна, только жаловалась, что от двери дует, за три недели два флюса натянуло.

Очень мне обидно было, что я такая, милочка и модница, сижу без ангажемента, а усатая Берта так хорошо устроилась.

И вот как-то она вдруг и предлагает мне:

— Хочешь, я попробую тебя продавщицей устроить.

Очень меня это укололо.

— Не к такой карьере я себя готовила. Я молода и

хороша и чего же мне всю жизнь на чужие рты конфеты заворачивать.

А Берта отвечает:

— Никто не знает своей судьбы. Вот была здесь в одном курорте продавщица тоже в конфетном магазине и зашел в тот магазин индейский король. Как ее увидал, так сразу на полтора миллиона конфет купил и бух на колени: «Будьте, кричит, моей женой, иначе мне не жить и вам не жить, один конец». Хозяева перепугались, послали за переводчиком, тот все точно изложил, а на другой день и свадьбу сыграли.

— Всяко-ж, — говорит Берта, — в конфетный магазин масса всяких королей ходит. Может быть какой нибудь и тобой заинтересуется.

Ну, думаю, короче говоря, почему бы мне и не начать с конфетной торговли? С чего нибудь, да надо же начинать.

В этом деле как раз мне и повезло. Понадобилась еще продавщица, Берта Карловна попросила, меня и взяли.

Кроме меня, было там еще две. И обе на меня похожи. Тоже мазанные, щипанные, волосы белые, щеки от них сизые. Ну, прямо, как сестрицы. Очень миленькие — совсем Холливуд. А Берта наша огромная, костистая, бровастая, стоит, машинкой гремит и на щеке флюс. Ужасно неинтересная. Ну, прямо не женщина, а тетка. Даже к конфетному делу не подходит. Около конфет нужна улыбочка, вертлявость, ,душок приятный, фиалковый одеколончик. Ну, да Бог с ней, думаю, каждому человеку жить надо.

Вот приходит к нам как-то седой господин, очень интересный, в новых перчатках. Мне одна из наших, из

мармазелей шепчет: «На своем ото приехал». Я как раз ему конфеты накладывала. Ну, конечно, улыбаюсь, пальчики петушиным гребешком складываю, все так изящно, что прямо хоть на музыку перекладывай. Купил фунт шоколаду фондан и полфунта крокан. Очень, короче говоря, сдержанный тип. Потом пошел к кассе и что то очень внимательно нашу Берту рассматривал. Сам деньги складывает, а сам на нее смотрит, да так, что даже бумажки мимо кошелька тычет.

Ушел, а мы, мармазели, стали промеж себя толковать, что нехорошо такую кассиршу держать. Ну прямо пугало, и щека подвязана. Ну, однако, не наше дело, а тем более не мое. Она мне друг и меня на место устроила.

Недельки через две является наш сдержанный тип снова. Купил фунт трюф о шоколя и опять на нас никакого внимания. А как подошел к кассе, снова на Берту уставился, да вдруг и говорит:

— А у вас опять флюс? Это вам верно от двери дует?

Берта плечами пожала.

— Да, — отвечает, — дует, а что же я могу?

Он покачал головой и ушел.

Ну, думаем, прогонят нашу Берту. Вон уж покупатели замечают, что она с неподходящим флюсом.

Через несколько дней заходит этот самый господин опять. Покупает фунт фондан, идет платить и спрашивает у Берты.

— Это у вас новый флюс или все еще тот же?

Не знаю, что она ответила, только он вдруг нагнулся к ней, взял ее за руку и говорит:

— Вам следует найти себе такое место, где на вас не будет дуть.

И прибавил:

— Подумайте хорошенько над моими словами.

С этим и ушел, сел в своей автомобиль и покатил.

Мы все ужасно удивились, что это может значить? «Следует найти другое место». Может быть это в том смысле, чтобы она убиралась отсюда вон.

Так мы ничего и не поняли, а Берта весь вечер плакала.

И что же бы вы думали? На другой день является наш господин снова. Ничего не покупает, идет прямо к кассе, и что-то шопотом спрашивает. Берта краснеет, как рак и начинает махать руками во все стороны. Потом кричит «да!» и начинает хохотать и плакать, как корова.

А он спокойно вынимает из кармана футляр, открывает, достает кольцо с камнем, ловит ее руку, надевает ей кольцо и очень элегантно говорит нам:

— Позвольте вам представить мармазель... как ваше имя?

Она кричит «Берта!».

— Мармазель Берта, моя невеста. А я Мерлан, фабрикант дверных ручек. У меня теплая квартира и ее прекрасная щека не будет больше заболевать.

Ну что вы на это скажете?

Конечно, он не король, ну да по нынешним временам у него положение по крайней мере прочное.

Но пусть мне теперь толкуют про щипанные брови и прочий Холливуд. Пусть попробуют потолковать! Я знаю, что я им отвечу!

МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Тощий, длинный, голова узкая, плешивая, выражение лица мудрое.

Говорит только на темы практические, без шуточек, прибауточек, без улыбочек. Если и усмехнется, так непременно иронически, оттянув углы рта к низу.

Занимает в эмиграции положение скромное: торгует в разнос духами и селедками. Духи пахнут селедками, селедки — духами.

Торгует плохо. Убеждает неубедительно:

— Духи скверные? Так ведь дешево. За эти самые духи в магазине шестьдесят франчков отвалите, а у меня девять. А плохо пахнут, так вы живо принюхаетесь. И не к такому человек привыкает.

— Что? Селедка одеколоном пахнет? Это ее вкусу не вредит. Мало что. Вот немцы, говорят, такой сыр едят, что покойником пахнет. А ничего. Не обижаются. Затошнит? Не знаю, никто не жаловался. От тошноты тоже никто не помирал. Никто не жаловался, что помирал.

Сам серый, брови рыжие. Рыжие и шевелятся. Любил рассказывать о своей жизни. Понимал, что жизнь его являет образец поступков осмысленных и правильных. Рассказывая, он поучает и одновременно выказывает недоверие к вашей сообразительности и восприимчивости.

— Фамилия наша Вурюгин. Не Ворюгин, как многие позволяют себе шутить, а именно Вурюгин, от совершенно неизвестного корня. Жили мы в Таганроге. Так жили, что ни один француз даже в воображении не может иметь такой жизни. Шесть лошадей, две коровы. Огород, угодья, Лавку отец держал. Чего? Да все было. Хочешь кирпичу — получай кирпичу. Хочешь постного масла — изволь масла. Хочешь бараний тулуп — получай тулуп. Даже готовое платье было. Да какое! Не то, что здесь — год поносил, все залоснится. У нас такие материалы были, какие здесь и во сне не снились. Крепкие, с ворсом. И фасоны ловкие, широкие, любой артист наденет — не прогадает. Модные. Здесь у них на счет моды, надо сказать, слабовато. Выставили летом сапоги коричневой кожи. Ах-ах! во всех магазинах, ах-ах, последняя мода. Ну, я хожу, смотрю, да только головой качаю. Я такие точно сапоги двадцать лет тому назад в Таганроге носил. Вон когда. Двадцать лет тому назад, а к ним сюда мода только сейчас докатилась. Модники, нечего сказать.

А дамы, как одеваются! Разве у нас носили такие лепешки на голове? Да у нас бы с такой лепешкой прямо постыдились бы на люди выйти. У нас модно одевались, шикарно. А здесь о моде понятия не имеют.

Скучно у них. Ужасно скучно. Метро, да синема. Стали бы у нас в Таганроге так по метро мотаться? Несколько сот тысяч человек ежедневно по парижским метро проезжает. И вы станете меня уверять, что все они по делу ездят? Ну, это, знаете, как говорится, ври, да не завирайся. Триста тысяч человек в день и все по делу! Где же эти их дела-то? В чем они себя оказывают? В торговле? В торговле, извините меня, застой. В работах тоже, извините меня, застой. Так где же, спрашивается, дела, по которым триста тысяч человек день и ночь, выпуля

глаза, по метро носятся? Удивляюсь, благоговею, но не верю.

На чужбине, конечно, тяжело и многого не понимаешь. Особливо человеку одинокому. Днем, конечно, работаешь, а по вечерам прямо дичаешь. Иногда подойдешь вечером к умывальнику, посмотришь на себя в зеркальце и сам себе скажешь:

— Вурюгин, Вурюгин! Ты ли это богатырь и красавец? Ты ли это торговый дом? и ты ли это шесть лошадей, и ты ли это две коровы? Одинокая твоя жизнь и усох ты, как цветок без корня..

И вот должен я вам сказать, что решил я как то влюбиться. Как говорится — решено и подписано. И жила у нас на лестнице в нашем отеле «Трезор» молоденькая барынька, очень милая и даже, между нами говоря — хорошенькая. Вдова. И мальчик у нее был пятилетний, славненький. Очень славненький был мальчик.

Дамочка ничего себе, немножко зарабатывала шитьем, так что не очень жаловалась. А то знаете — наши беженки — пригласишь ее чайку попить, а она тебе, как худой бухгалтер, все только считает да пересчитывает: «Ах, там не заплатили пятьдесят, а тут не доплатили шестьдесят, а комната двести в месяц, а на метро три франка в день». Считают, да вычитают — тоска берет. С дамой интересно, чтобы она про тебя что нибудь красивое говорила, а не про свои счеты. Ну, а эта дамочка была особенная. Все что-то напевает, хотя при этом не легкомысленная, а как говорится, с запросами, с подходом к жизни. Увидела, что у меня на пальто пуговица на нитке висит и тотчас, ни слова не говоря, приносит иголку и пришивает.

Ну я, знаете ли, дальше — больше. Решил влюбляться. И мальчик славненький. Я люблю ко всему относиться

серьезно. А особенно в таком деле. Надо умеючи рассуждать. У меня не пустяки в голове были, а законный брак. Спросил, между прочим, свои ли у нее зубы. Хотя и молоденькая, да ведь всякое бывает. Была в Таганроге одна учительница. Тоже молоденькая, а потом оказалось — глаз вставной.

Ну, значит, приглядываюсь я к своей дамочке и совсем уж, значит, все взвесил.

— Жениться можно. И вот одно неожиданное обстоятельство открыло мне глаза, что мне, как порядочному и добросовестному, больше скажу — благородному человеку, жениться на ней нельзя. Ведь подумать только — такой ничтожный, казалось бы, случай, а перевернул всю жизнь на старую зарубку.

И было дело вот как. Сидим мы как то у нее вечерком, очень уютно, вспоминаем, какие в России супы были. Четырнадцать насчитали, а горох и забыли. Ну и смешно стало. То-есть смеялась то, конечно, она, я смеяться не люблю. Я скорее подосадовал на дефект памяти. Вот, значит, сидим, вспоминаем былое могущество, а мальчонка тут же.

— Дай, — говорит, — маман, карамельку.

А она отвечает:

— Нельзя больше, ты уже три съел.

— А он ну канючить — дай да дай.

А я говорю, благородно шутя:

— Ну-ка пойди сюда, я тебя отшлепаю.

А она и скажи мне фатальный пункт:

— Ну, где вам! Вы человек мягкий, вы его отшлепать не сможете.

И тут разверзлась пропасть у моих ног.

Брать на себя воспитание младенца как раз такого возраста, когда ихнего брата полагается драть, при мо-

ем характере обсолютно невозможно. Не могу этого на себя взять. Разве я его когда нибудь выдеру? Нет, не выдеру. Я драть не умею. И что же? Губить ребенка, сына любимой женщины.

— Простите, говорю. Анна Павловна. Простите, но наш брак утопия, в которой все мы утонем. Потому, что я вашему сыну настоящим отцом и воспитателем быть не смогу. Я не только что, а прямо ни одного разу выдрать его не смогу.

Говорил я очень сдержанно и ни одна фибра на моем лице не дрыгала. Может быть, голос и был слегка подавлен, но за фибру я ручаюсь.

Она, конечно, — ах, ах! Любовь и все такое, и драть мальчика не надо, он, мол, и так хорош.

— Хорош, говорю, хорош, а будет плох. И прошу вас не настаивайте. Будьте тверды. Помните, что я драть не могу. Будущностью сына играть не следует.

Ну, она, конечно, женщина, конечно, закричала, что я дурак. Но дело все-таки разошлось, и я не жалею. Я поступил благородно и ради собственного ослепления страсти не пожертвовал юным организмом ребенка.

Взял себя вполне в руки. Дал ей поуспокоиться денек, другой, и пришел толково объяснить.

Ну, конечно, женщина воспринять не может. Зарядила «дурак да дурак». Совершенно неосновательно.

Так эта история и покончилась. И могу сказать — горжусь. Забыл довольно скоро, потому что считаю ненужным вообще всякие воспоминания. На что? В ломбард их закладывать что ли?

Ну-с и вот, обдумавши положение, решил я жениться. Только не на русской, дудки-с. Надо уметь рассуждать. Мы где живем? Прямо спрашиваю вас — где? Во Фран-

ции. А раз живем во Франции, так, значит, нужно жениться на француженке. Стал подыскивать.

Есть у меня здесь один француз знакомый. Мусью Емельян. Не совсем француз, но давно тут живет и все порядки знает.

Ну, вот, этот мусью и познакомил меня с одной барышней. На почте служит. Миленькая. Только, знаете, смотрю, а фигурка у нее прехорошенькая. Тоненькая, длинненькая. И платьице сидит, как влитое.

Эге, думаю, дело дрянь!

— Нет, говорю, эта мне не подходит. Нравится, слов нет, но надо уметь рассуждать. Такая тоненькая, складненькая, всегда сможет купить себе дешевенькое платьице — так за семьдесят пять франков. А купила платьице — так тут ее дома зубами не удержишь. Пойдет плясать. А разве это хорошо? Разве я для того женюсь, чтобы жена плясала? Нет, говорю, найдите мне модель другого выпуска. Поплотнее. И можете себе представить — живо нашлась. Небольшая модель, но эдакая, знаете, трамбовочка кургузенькая, да и на спине жиру, как говорится, не купить. Но в общем ничего себе и тоже служащая. Вы не подумайте, что какая нибудь кувалда. Нет, у ней и завитушечки, и плоечки, и все как и у худеньких. Только, конечно, готового платья для нее не достать.

Все это обсудивши, да обдумавши, я, значит, открылся ей в чем полагается, да и марш в мэри.

И вот, примерно, через месяц запросила она нового платья. Запросила нового платья и я очень охотно говорю:

— Конечно, готовенькое купишь?

Тут она слегка покраснела и отвечает небрежно:

— Я готовые не люблю. Плохо сидят. Лучше купи мне материю синенького цвета, да отдадим шить.

Я очень охотно ее целую и иду покупать. Да будто бы по ошибке покупаю самого неподходящего цвета. В роде буланого, как лошади бывают.

Она немножко растерялась, однако, благодарит. Нельзя же — первый подарок, эдак и отвадить легко. Тоже свою линию понимает.

А я очень всему радуюсь и рекомендую ей русскую портниху. Давно ее знал. Драла дороже француженки, а шила так, что прямо плюнь, да свистни. Одной клиентке воротничек к рукаву пришила, да еще спорила. Ну, вот, сшила эта самая кутюрша моей барыньке платье. Ну, прямо в театр ходить не надо, до того смешно! Буланая телка, да и только. Уж она, бедная, и плакать пробовала, и переделывала, и перекрашивала — ничего не помогло. Так и висит платье на гвозде, а жена сидитт дома. Она француженка, она понимает, что каждый месяц платья не сошьешь. Ну, вот, и живем тихой семейной жизнью. И очень доволен. А почему? А потому, что надо уметь рассуждать.

Научил ее голубцы готовить.

Счастье тоже само в руки не дается. Нужно знать, как за него взяться.

А всякий бы, конечно, хотел, да не всякий может.

СОРОКА

Вид у нее был придурковатый и озабоченный.

Манеры суетливые. Вечно что то бормочет и наскакивает боком.

Вся всегда в черном с белым — сейчас это сочетание модно.

Нос длинный. Глаза круглые, недовольные и глупые.

Не ищите по этим приметам знакомых вам дам. Не найдете. То есть, если и найдете, то речь идет не о них. Речь идет о птице, о сороке.

Живет эта птица-сорока в Париже, на улице Кретель, что против больничного садика.

Познакомились мы с ней следующим образом.

Шли мы, как раз, мимо этого садика, шли с собакой.

Вдруг видим, — шагает по тротуару птица. Вид недовольный и совершенно нас не боится.

Собака на нее залаяла, но птица и глазом не сморгнула, а напротив того — сердито закрякала, будто заругалась, и стала боком-боком наступать на собаку.

— Что за притча?

— Наверное, ручная.

Из окна нижнего этажа высунулась бабья голова и сказала:

— Кики!

Это ясно было обращение к сороке.

У французов, вообще, все, что не лошадь и не корова — то «кики». «Кики» — кролик, канарейка, обезьяна, черепаха, гиппопотам зоологического сада и собственная внучка.

Значит, сорока была для бабы Кики и очевидно ручная.

Подошли, спросили.

Оказывается — угадали. Ручная. И вдобавок известная на весь квартал.

Ну вот, как говорится, первый лед был сломан. Мы стали изредка встречать сороку на ее улице.

И всегда она бывала сердита, озабоченная каким-то сложными и спешными делами, и видно было, что дела эти не ладились.

Но вот — сорока пропала. На улице больше не встречалась. Может быть захворала?

Как то неловко было наводить справки. Казалось, будто это как то не принято. Врываться в частную жизнь. Мало ли почему она больше не гуляет. Вообще, в культурных государствах не полагается даже давать адрес ваших друзей, если вы о них справляетесь. Мало ли что может быть. Может быть, они именно от вас то и прячутся. В культурных государствах частная жизнь священна.

— Почему сорока не гуляет?

— А вам какое дело? Не суйтесь, куда вас не спрашивают.

Пришлось подавить в себе естественный прорыв любопытства, и сорока мало по малу сгладилась в нашей памяти.

И вот, в один прекрасный день, проходя по той же сорочьей улице, слышим мы разговор. Говорила какая-то прохожая с той самой бабьей головой, которая торчала из окна первого этажа и звала сороку «Кики».

— А что же ее не видно, вашей сороки? — спрашивала прохожая.

— Ах, она страшно занята, — отвечала бабья голова. — Она ищет себе мужа и начала вить гнездо.

Тут мы не вытерпели.

— Где же ее гнездо? Вы простите, что мы спрашиваем. Это не простое любопытство. Мы, как старые знакомые. Мы часто встречались и вообще может быть что нибудь нужно...

— Вот обернитесь, — указала нам бабья голова. — Видите за оградой большое дерево. Вон там высоко-высоко ее гнездо. Чудное гнездо. Роскошное. Уж она туда таскала, таскала всякого добра! У моей дочери лента пропала, искали — с ног сбились, а мадам Раку говорит, что видела, как сорока ее в лапах тащила. У Жюля спортивный значек пропал, у Мишлин ложечка. Муж хотел даже влезть, посмотреть, пошарить у нее в гнезде, да уж очень высоко, трудно. У нее там все шикарно устроено. Теперь сидит и ждет мужа. Только здесь сорок совсем не видно, одни воробьи. Но ведь для воробья она совсем не подходящая.

— В Медоне масса сорок, — вставила прохожая.

— Да, говорят. Но как же им дать знать? Они сюда не залетают.

— Ей бы самой туда слетать.

— Так ведь она не знает.

— Я слышала, что есть говорящие сороки. Вот если бы ее выучили в свое время говорить, так и можно было бы ей растолковать насчет Медона.

— Теперь уж ей учиться поздно. Теперь у нее не то в голове.

— Ну, может быть, еще и заглянет кто нибудь сю-

да. Птицы ведь летают. Кто нибудь из них увидит сверху и даст знать.

— Если бы какя нибудь сорока увидела. Они ведь болтливые, недаром существует поговорка «сорока на хвосте принесла».

Прошло еще около месяца. И вот снова мы на этой улице и снова торчит из окна бабья голова.

Теперь уж мы, как свои люди, связанные сорочьими интересами, прямо приступаем к делу.

— Бонжур-бонжур, ну как она, нашла мужа?

Голова уныло качается.

— Ах, если бы вы знали! Ждала-ждала и решила, что гнездо недостаточно шикарно. Представьте себе, бросила его и стала вить новое. Огромное. Прямо, точно на орла рассчитывает. У меня за нее сердце болит. Ну, как ей объяснить, что не в этом дело?

— Да, если бы ее в свое время научили говорить!

— Ну, кто же мог знать.

И еще прошло довольно много времени, и снова разговор с бабьей головой.

— Ну, что?

— Совсем беда. Понимаете, какая вышла история. Свила она гнездо всем на удивление. Не только что птице — авиатору было бы где поместиться. Ну и вот, ждала сорока, ждала — так и не дождалась. Ну и решила на законный брак плюнуть и обойтись своими средствами. Нанесла яиц-жировиков и теперь сидит-высиживает. Второй месяц сидит. Похудела, облезла — один нос, да глаза. Хвост потеряла. Вылетит на минутку, облетит вокруг гнезда три раза, очевидно для моциону, и опять сидит.

— Что же теперь делать? Ведь она так погибнет.

— Да, все в квартале волнуются.

— Может быть можно было бы дать знать в какое нибудь такое общество?

— В Армию Спасения?

— Ну, что вы! В покровительство животным.

— Так ведь сорока не животное.

— А по вашему, если не животное, так пусть издыхает?

— Ей бы, дуре, в Медоне поселиться.

— Ну, не будем, господа, вечно возвращаться к этому вопросу. Гораздо проще купить в животном магазине сороку и привезти сюда, чем тащить женщину в Медон.

— Какую женщину? Что вы путаете?

— Я хотела сказать — сороку.

— Купить в магазине! Вот она наша милая манера все переводить на деньги. Самое святое, что только есть на свете — материнская любовь, и туда человек сунется со своей платежной силой. Гнусно!

— Прошу вас не делать мне замечаний.

— Не с того конца сорока начала. Нужно сначала жениха найти, а уж потом квартиру отделывать.

— Как вы любите все опошлять.

— Однако! Я бы вас попросил...

— Вы видите, что мне неприятно, когда вы о ней так говорите.

— Что я особенного сказал? Уж не смей про сороку нормальным языком говорить. Кошмар какой-то!

— Господа, перестаньте. Кончится тем, что мы все перессоримся.

— И пусть! Когда кто-нибудь борется за идеалы материнства, то здесь подхихикиванье неуместно.

— Ну, знаете, это еще доказать надо, что здесь идеалы. А по-моему, просто старая морда, которая, как ненормальная, каждому готова на шею вешаться. Видали

мы тоже таких-то. Да что далеко ходить — вы наверное слышали про нашу Лукию Тарасовну, мадам Кудысело? В нашем отельчике живет. Неужели не слыхали? Столовников держит. Оборотистая такая баба. Два сына женатых, внук. Так вот эта дамочка решила в прошлом году переменить свою судьбу. А именно — выйти замуж. Мы все так и ахнули. Наружность у нее, между нами будь сказано, не очень к таким планам подходящая. Плечи широкие, толстые, а ног быдто совсем нет. Когда сидит, так коленки где то невидимо под животом сгибаются. Шеи, между прочим, уж окончательно нет, так одна поперечная морщина, и кончено. Голос у этой дамочки совсем особенный. Не то что неприятный, а какой то в нашей теперешней заграничной жизни ни к чему. Одним словом, впечатление дает такое, как будто как у нас в Малороссии бабы через тын перекликались. И звук такой, и сила, и выразительность. Ну вот, значит, представляете себе картину. И ко всему этому нос вздернутый, глазки белесенькие и на голове плешь.

Когда она нам свое намерение объяснила, мы, знаете, даже и посмеяться не захотели, а прямо говорим:

— Вы бы все-таки о своих годах подумали. Может быть внуку обидным покажется.

А она в ответ только фыркает.

— Удивляюсь, говорит, вашей серости. Это у нас в Россеюшке, как женщине сорок стукнуло, так уж она в старухах считается. Здесь, милые мои, не так. Здесь женщина в пятьдесят только еще расцветает. Вот водили меня в ихний театр, называют Музик-Голь. Музик — значит с музыкой, и голь показывают. Так там одна бабка была, лет, говорят, под семьдесят, и среди голи самая первая. Так она выводила шесть матерых молодцов, ставила их в ряд и потом они эту бабку-то за большие день-

ги в воздухе друг дружке перекидывали. За ногу ее хватят и гоп! Я каждый раз так и взвизгну. Вот какие дела, а вы говорите, что мне замуж поздно.

Ну и дала она в журнал объявление:

«Меланхолическая блондинка тоскует по идеалу, умеет немножко готовить, желает вступить в серьезную переписку с брюнетом тридцати трех лет, рост не обязателен».

И что же вы думаете? Получает из Гренобля письмо.

«Разочарованный в жизни идеалист зовет свою мечту. Имею небольшой, но прочный заработок».

Словом — послала она ему свою старую фотографию, он ей выслал денег на дорогу, и покатила наша Тарасовна в Гренобль.

Приехала — на вокзале никого подходящего. Бродит какой-то пузатый старик и всем барышням заглядывает под шляпки. Пригляделась Тарасовна к старику, а у него из кармана торчит номер того самого журнала. У нее дыханье сперло. И закричала она своим зычным голосом. Как баба через тын:

— Ой, да неужто-ж вы тот самый идеалист? Ой, лышечко!

Он глазки выпучил, да как закудахчет:

— Тах-тах-тах-тах! Так это вы? Так вы же мне какую фотографию прислали? С до-японской войны?

Ну, наша Тарасовна себя в обиду не даст:

— А чего же тебе посылать? Карт д-идантитэ с кривым рылом, с косым глазом, с тремя носами? Туда же претензии, идеалист паршивый.

Договорились до того, что он стрекулист, а она старая квашня, однако, пришлось ему обратный билет купить и даже напоил в буфете пивом, потому что уж очень она его расчехвостила.

Так с обратным поездом и вернулась.

— Все это хорошо, господа, все эти ваши романы с неизвестными. «Где волны морские, там бури, где люди, там страсти», как выразился поэт. А вот как нам быть с сорокой?

— Н-да. С сорокой дело сложнее. Про сороку ни один поэт ничего не выразил. Сорока, она ведь глубоко переживает. От нее на пиве не отъедешь.

И как в природе все премудро! Как подумаешь, так прямо затошнит!

ВСКРЫТЫЕ ТАЙНИКИ

Зашел у нас разговор — о том, как находят на улице деньги и что за этим следует.

Вспоминали как в какой стране к находкам относится закон. В Персии, мол, пострадавшим оказывается нашедший, потому что его ведут в участок, а раз попал человек в участок, то его, прежде чем допрашивать, сначала для порядка обязательно поколотят.

Вспоминали, что и в России было что-то в этом роде. В участке, конечно, не колотили, но неприятностей доставляли не мало.

Вспоминали рассказ, как один господин уронил кошелек, нагнулся, чтоб его поднять, как чья-то рука из под носа у него этот кошелек вытянула и темная личность деловито произнесла:

— Виноват-с, я этот кошелек нашел.

— Как так вы нашли, — завопил господин, — когда это мой кошелек и я доказать могу.

— Ваш так ваш, — спокойно согласилась личность. — Но раз я нашел, шестая часть моя. И у меня есть свидетели и пожалуйте в участок.

Подошел и свидетель, тоже личность не светлая.

Поволокли потерпевшего в участок.

Околодочный выслушал нашедшего и свидетеля, пересчитал в кошельке деньги:

— Шестьдесят рублей.

— Ну так вот, — говорит, — вы должны выделить тридцать рублей нашедшему, да тридцать свидетелю, да десять мне за составление протокола.

— Да помилуйте! — взмолился потерпевший. — Откуда же столько? Я и всего то шестьдесят потерял, а вы насчитываете за мной долгу семьдесят.

А околодочный спокойно говорит:

— Ну так вы слишком мало потеряли.

Всяких рассказов о находках и их последствиях выплыло не мало, но все более или менее друг на друга похожи. Вспомнился среди них один, тоже на другие похожий, но вместе с тем и отличающийся. И отличается он своим незаурядным концом, вскрывающим тайники человеческой души, столь удивительные, что лучше бы им и не вскрываться.

Так вот, в виду того, что конец этой истории из других, на нее похожих, эту историю выделяет, я ее и хочу рассказать.

***

— Ну-с, так вот — начало самое банальное.

Жили были две дамы. Обе были молоды и недурны собою, обе потеряли мужей в мутном водовороте текущих событий. Отличались они друг от друга, кроме внешности, имени и фамилии, главным образом тем, что одна была особа состоятельная, другая же определенно бедная. И положение это было, повидимому, прочно за обеими закреплено, потому что богатая дама была женщина практичная и своего не упускала и на чужое поглядывала, а бедная была растяпа, такого подшибленного жизнью образца, которые не то чтобы довольствуются скромной своей долей, а, вздыхая, смиряются.

Дамы эти были давно знакомы, еще когда судьба не разделила так резко их материального положения. Были даже дружны когда-то, а потом продолжали иногда встречаться, но уже не как равные, потому что элегантная дама со щипанными бровями и прической «перманант миз ан пли» не может считать себя на одном интеллектуальном уровне с существом, одетым в платье из искусственного шелка «гаранти-лавабль», восемьдесят девять франков девяностно сантимов, с небритым затылком и бровями нормальными, как мать родила. К такому существу можно снисходить, можно его терпеть, жалеть, любить, да, даже любить, но, конечно, не считать же его за равного.

Вот обе эти дамы, назовем их для удобства Маривановой (богатую) и Колаевой (бедную), шли как-то вместе по каким-то дамским делам — не то бедная предлагала богатой посмотреть на какой-то доверенный ей оказион, не то богатая вела бедную показать ей для копировки какую-то модель — в точности не знаю, да это и не имеет особого значения для нашего рассказа. Значение имеет только то, что шли они вместе.

Так вот, шли они вместе и вдруг, недалеко от магазина «Прентан», видит бедная — лежит на тротуаре бумажник.

— Смотрите, Женичка, бумажник!

Богатая отвечает:

— Ну да. Нужно скорее поднять.

Бедная нагнулась, а богатая говорит:

— Давайте его мне, вы с деньгами обращаться не умеете.

Подняла бумажник, смотрят, а в нем сорок две тысячи. Так и ахнули.

— Бежим скорее в комиссариат! — говорит бедная.

— Чего ради? — удивляется богатая. — Какая-то

ворона теряет такие деньги, а мы изволь отдавать? Не будь другой раз вороной. Ворон учить надо.

А бедная, как человек непрактичный, благородно волнуется:

— Не можем же мы присвоить себе чужие деньги! Тем более, что в бумажнике визитные карточки лежат, значит мы знаем владельца. Это же получается форменное воровство.

Спорили долго, пока бедная в благородстве своем не пригрозила, что подойдет к ажану, да все ему и расскажет.

Тогда богатая решает идти прямо к владельцу и самим передать ему деньги из рук в руки. Бедная согласилась и пошли.

Приходят — квартира большая, встречает лакей, идет докладывать, просит войти.

Богатая и говорит бедной:

— Ты подожди в передней, ты чорт знает как одета, неловко.

Пошла богатая к хозяину — интереснейший господин, элегантный, с седыми височками, с маникюром, в зубах платина и весь пахнет дорогой сигарой. — Встречает радушно, выслушивает рассказ, восторженно принимает свой бумажник и, пересчитав деньги, предается благодарному экстазу. Но между прочим спрашивает:

— А где же ваша приятельница? Вы ведь говорите, что шли вдвоем.

— А она, говорит, ждет в передней.

— Ах, ох, как же так можно!

Бежит в переднюю, приводит смущенную Колаеву, усаживает, благодарит, приглашает обеих вечером в ресторан, потом встречаются снова. И хотя ни гроша он им за находку не дал, но ни та, ни другая в обиде себя

не чувствовали, потому что очень он обеим понравился, катал их, угощал и так все выходило, что даже будь с его стороны поползновение на какую нибудь награду, это только совершенно искренно смутило бы его новых приятельниц.

И вот как-то в разговоре выяснились подробности находки. Бедная проболталась, что это она настояла, чтобы деньги были возвращены владельцу. Она при этом ничуть не хотела очернить богатую и даже подчеркивала, что мысль сдать находку с рук на руки владельцу пришла именно богатой, но все таки владелец (назовем его для удобства просто французом) понял и усвоил, что деньги он получил благодаря настойчивой безкорыстности Колаевой и, сопоставляя при этом, что она бедна, как крыса, и работает, как вол, и сопоставив этих двух животных, столь различествующих в своей величине и силах — проникся таким восторженным умилением к благородной славянской душе Колаевой, что не только влюбился в нее, но даже, минуя всякие так называемые гнусные предложения, прямо предложил ей быть его женой.

Богатая очень, конечно, была его выбором уязвлена, но ничего не попишешь, пришлось смириться, и так как бедная теперь не только сравнялась с ней рангом, но даже перекозыряла (у богатой Ситроен, у бедной Бюик, у богатой три комнаты, у бедной — шесть, у богатой угловой парикмахер, у бедной — Антуан), то можно было войти с ней в настоящую дружбу.

Француз блаженствовал, изучал славянскую душу, но... вот тут и начинается. Начинает француз приглядываться.

— Почему нехватает трех тысяч? Куда ушли?

— На благотворительность.

— Где картина, что висела в столовой — зайцы с малиной?

— Пожертвовала на лотерею.

— Что это за дура сидит все время в бельевой и что то ест?

— Это добрая женщина, которую выгнали родные дети за дурной характер. Куда ей деться?

Французу эти штучки стали определенно не нравиться.

— Милый! — отвечала бывшая бедная на его упреки. — Милый! Разве не за нежную и чистую душу полюбил ты меня? Разве я поступаю теперь не так, как поступила бы прежде? Смотри — картина, которая висела в столовой, была выиграна в лотерею. Разве не вытекает из этого, что мы должны ее пожертвовать в пользу лотереи? Три тысячи франков, ты сам говорил, достались тебе случайно. Разве не вытекает...

— Ничего ни из чего не вытекает! — мрачно оборвал француз.

— Но почему же раньше...

— Раньше мне понравилось, что вы решили отдать мне принадлежащие мне деньги. Но теперь, когда вы мои деньги раздаете другим, мне это абсолютно не нравится. Эта сторона славянской души мне определенно противна. Поучитесь у вашей подруги, мадам Мариванов. Вот женщина, которая понимает цену деньгам, она практична и приятна.

Ревность вспыхнула в сердце бывшей бедной.

— Может быть, она и приятна, — сказала она дрожащим голосом, — но она взяла у меня жемчуг на один день и вот уже третий месяц не возвращает, и, повидимому, хочет присвоить его совсем. Разве это хорошо?

— Если что в этой истории не хорошо, — презрительно отвечал муж, — так это ваша безалаберность. А мадам Мариванов понимает толк в вещах, дорожит ими

и вообще обладает качествами хорошей жены. Ваши же качества для жены не годятся.

— А разве тебе понравилось, что она хотела присвоить себе чужие деньги?

— Если бы я тогда был ее мужем, то нашел бы этот поступок приятным и полезным.

На этом месте бывшая бедная заплакала.

Дальнейший ход разговора неизвестен. Но известен дальнейший ход событий: француз развелся с бывшей бедной и женился на богатой, на мадам Маривановой.

Таков необычайный конец этой обычной истории.

ЯРКАЯ ЖИЗНЬ

В пять дней был создан мир.

«И увидел Бог, что хорошо» — сказано в Библии.

Увидел, что хорошо, и создал человека.

Зачем? — спрашивается.

Тем не менее создал.

Вот тут и пошло. Бог видит, «что хорошо», а человек сразу увидел, что неладно. И то нехорошо, и это неправильно, и почему заветы и для чего запреты.

А там — всем известная печальная история с яблоком. Съел человек яблоко, а вину свалил на змея. Он, мол, подстрекал. Прием, проживший многие века и доживший до нашего времени: если человек набедокурил, всегда во всем виноваты приятели.

Но не судьба человека интересует нас сейчас, а именно вопрос — зачем он был создан? Не потому ли, что и мироздание, как всякое художественное произведение, нуждалось в критике?

Конечно, не все в этом мироздании совершенно. Ерунды много. Зачем, например, у какой нибудь луговой травинки двенадцать разновидностей и все ни к чему. И придет корова, и заберет широким языком, и слопает все двенадцать.

И зачем человеку отросток слепой кишки, который надо как можно скорее удалять?

— Ну-ну!—скажут,—вы рассуждаете легкомысленно. Этот червеобразный отросток свидетельствует о том, что человек когда-то....

Не помню, о чем он свидетельствует, но наверное о какой нибудь совсем нелестной штуке: о принадлежности к определенному роду обезьян или каких нибудь южно-азиатских водяных каракатиц. Пусть уж лучше не свидетельствует. Червеобразный! — Эдакая гадость! А ведь сотворен.

Кроме дара критики, дан еще человеку дар фантазии. Критика осуждает, фантазия творит на свой лад. Поправить что нибудь фактически, конечно, фантазия не может. И все «фактическое» большею частью так скучно и несовершенно, что принимать его в голом виде часто бывает неприятно, как нечто художественно не удачное.

И вот есть на свете натуры, которые этих нудных бытовых фактов принять не могут, не могут принять и считаться с ними не желают. Факт, по их мнению, может так же ошибиться, как и человек.

И вот они, эти люди, эстетически быта не воспринимающие, поправляют его своей фантазией (тоже для чего то им дарованной, не хуже червеобразного отростка) и дальше живет в них этот быт, живет и распространяется уже в исправленном виде.

В просторечьи называется это — враньем.

**
*

Все вышеизложенное есть только предисловие к повести о Валентине Петровне. Повести краткой, охватывающей всего только один день ее богатой событиями жизни.

Итак — живет на свете Валентина Петровна. Живет.

как все мы, и шатко, и валко. Это внешне. Но на самом деле жизнь ее богата содержанием, пестра и разнообразна.

Внешняя сторона ее жизни такова: ей пятьдесят пять лет (это ведь тоже относится к внешней стороне), одета она скверно, с чужого плеча, волосы у нее какие то пестрые, лицо мятое, но выражение глаз вдохновенное.

Живет она в комнате у вдовы Парфеновой, вяжущей светры на продажу. За комнату платит не очень аккуратно, но это с ее точки зрения — пустяки. (Парфенова с этим взглядом не согласна, но пока что решила терпеть). Занятие Валентины Петровны — продавать светры Парфеновой, шить кошельки, рисовать пошетки — словом, что подвернется. Иногда, когда работы много, она просиживает по три, четыре дня, не выходя из дому, но — пожаловаться не может — впечатлений все-таки получает массу.

Или:

— Без вас приходил почтальон, — говорит она Парфеновой. — Я не знаю, любил ли этот человек когда нибудь, но я прочла на его энергичном лице столько самоотвержения и готовности бороться за личное счастье, какие редко приходилось мне встречать. Я долго думала о нем и вероятно воспоминание о нем глубоко врежется в мою душу на всю жизнь:

— Без вас угольщик принес уголь. Знаете, меня поразили необычайно-ритмические движения всего его корпуса. В нем чувствуется незаурядно-талантливая натура, и пойди он по другому пути — как знать, может быть из него вышел бы второй Ван-Дик?

Если же Валентина Петровна выходит на улицу, то достаточно ей дойти до угловой булочной, чтоб жизнь ее наполнилась впечатлениями на два дня.

Она непременно встретит какую нибудь девушку с итальянскими глазами, рваную, но, конечно, из высшего общества, встретит девчонку, дочку зеленщицы, которая наверное была в детстве украдена у высокопоставленных родителей, о чем свидетельствует ее необычайного благородства нос.

Она встретит в молочной совершенно незнакомого господина, который посмотрит на нее так, как будто хочет сказать: «От меня не скрыта ваша душа. Вы нежны и одиноки, и я понимаю красоту вашей печали».

— И откуда все это у вас берется? — удивляется вдова Парфенова.

Если же Валентине Петровне доводится провести вечер в гостях, то рассказов хватает на месяц. Одна поездка чего стоила.

— Вчера в трамвае ехал какой-то военный, поскольку я могу судить по благородству его выправки. Он так странно смотрел на меня, и т. д.

— Удивительно! — говорит Парфенова. — Как это вы ухитряетесь всегда кого нибудь подцепить! Я вот каждый день в трамвае езжу, и, кроме блох, ничего подцепить не могу.

В тот день, в который начинается наша повесть, Валентина Петровна отнесла светр к Поповым. Там ее пригласили выпить чашку чая. У Поповых были гости. Рассказывали о каком-то Быкове, который изменяет жене.

— Ну, она скоро утешится, — вставил кто-то. — Ей, кажется, нравится какой-то французский художник.

— Не думаю, — заметил другой. — Она такая размазня.

После этого Валентина Петровна распрощалась и поехала в трамвае к Шуриным.

Народу в вагон набилось много. Ей пришлось стоять. И вот какой-то господин поднялся и уступил ей место.

Господин был довольно молодой, одет простовато, в толстом вязаном кашнэ, в руках держал два завернутых в бумагу магазинных пакета.

Валентина Петровна, взволнованная и смущенная, разглядывала его.

— Прост, но элегантен, — думала она. — Рыцарь. Это именно тот тип, который нравится женщинам. Если бы эта несчастная Быкова, о которой сегодня рассказывали, встретила такого человека на своем пути, он бы утешил ее. Он рыцарь. А может быть — и ничего нет удивительного в этом предположении — может быть, это и есть тот француз, который ей нравится. Это было бы ужасно. Я не хочу становиться ей поперек дороги. Я сумею себя устранить. Я сейчас же подойду к нему и скажу: «Я знаю, вы художник, вас любит несчастная Быкова, я себя устраняю». Скажу и спрыгну с площадки, и тихий сумрак огромного города поглотит мои шаги.

— Рю Лурмель! — крикнул кондуктор.

Валентина Петровна выскочила — это была ее остановка, на Лурмель жили Шурины.

О, ужас, о, счастье, и «он» тоже вылез. Он шел за ней, за ней!

С громко бьющимся сердцем она замедлила шаги, обернулась. Нет. Он повернул к бульвару. Но они еще встретятся. Это предопределено.

У Шуриных удивлялись ее бледности. И она не могла молчать.

— Очень странная история. Самый фантастический роман, который когда либо приходилось читать, — рассказывала она. — Вы меня знаете. Я не кокетка и не красавица. Я держу себя просто и одеваюсь скромно.

И не знаю, и не понимаю, чем объяснить то странное внимание, которым я окружена в жизни. Почему любите меня вы, почему обожает Парфенова — это еще я могу понять. Но почему так тянет ко мне совершенно незнакомых мне людей — это порою прямо меня пугает. Уверяю вас — не льстит, а скорее пугает. Мне лично никого и ничего не надо. Пара голубей на подоконнике, полуувядшая роза в бокале, книжка любимого поэта на коленях, легкий ветерок, шевелящий мои кудри, — вот все, что мне нужно. Зачем мне этот вихрь страстей? Зачем эти ненужные мне призывы? Я их не хочу и не хотела. И вот теперь — драма. Вы, мои друзья, я скажу вам всю правду. Негодяй Быков бросил свою жену. Страдалица влюбилась в француза-художника. Казалось бы, сама судьба улыбнулась ей. Художник - рыцарь, благородный облик в шерстяном кашнэ. Он может дать ей счастье. И вот — фатальная встреча. Все равно, как и где. Клянусь вам — я не виновата. Я не завлекала его. И я его не люблю. Я не хочу связывать мою жизнь, и без того такую бурную, с его призрачным существованием. Что мне делать? Я решила уехать, пока не поздно. Деньги — пустяки. Две-три тысячи всегда достать можно. Люди, которым я дорога, всегда придут мне на помощь. Я знаю, вам будет тяжело лишиться меня. Парфеновой тоже. И многим еще. Я как нибудь проживу, но вы все — что будет с вами?

В эту минуту раздался звонок.

Валентина Петровна, сидевшая у двери в переднюю, вскочила, чтобы пропустить хозяина и вместе с ним вышла в переднюю. Шурин открыл дверь.

— Ах!

Господин из трамвая, он, в толстом шерстяном кашнэ

нэ... Валентина Петровна покачнулась и схватилась за грудь двумя руками.

— Livraison! — сказал господин из трамвая, протягивая пакет.

— Лиза! Прислали лампу, — закричал Шурин. — Дай посыльному франк на чай.

Валентина Петровна прислонилась к притолоке, чтобы не упасть.

Она видела, как Лиза Шурина дала господину в кашпэ франк на чай и тот сказал «Мерси, мадам», и захлопнул за собою дверь.

Ей не хотелось сейчас же рассказывать все Шуриным. Ей хотелось все как следует обдумать, понять, как безумный художник все это придумал и проделал?

А вечером или завтра утром она расскажет всю эту небывалую историю вдове Парфеновой, взяв, конечно, с нее слово, что она никому не проговорится.

— Как интересна, сложна и богата моя жизнь! Как все это жутко и как ярко!

ПОДЛЕЦЫ

Сколько ей лет?

Лет пятьдесят, пятьдесят пять, что нибудь в этом роде. Волосы рыжие, завитые туго, как грива ассирийского льва. Щеки круглые, кляксапирового цвета. Когда она сердится или негодует — щеки слегка дрожат. Реснички расчесаны, бровки подщипаны. На платье плиссировочки, шнуровочки, бантики, кантики, словом — дамочка за собой следит и себе цену знает.

Да — цену себе знает. Поэтому спорить с ней нельзя.

Говорит она очень авторитетно. От всякого возражения просто отмахивается рукой:

— Ах, бросьте!

— Ах, оставьте!

Даже и переубеждать не дает себе труда. И так ведь ясно, что она права.

Зовут ее Алевтина Петровна.

— Милая моя, — говорит Алевтина Петровна. — Вы слышали — Шура замуж выходит!

— Ну и пусть себе.

— Как «пусть себе!» Выходить замуж, ведь это значит за мужчину. За подлеца!

— Почему же вы думаете, что он подлец?

— Ах, бросьте! Видели вы когда нибудь мужчину не

подлеца? Видели вы когда нибудь такого, который своей жене не изменял? Была у меня старушка знакомая, большого опыта женщина. Так она, помню, всегда говорила: «Алевтя, дорогуша, верь мне — мужчины — Божьи собаки». Так их всегда и называла. Большого опыта была женщина. Уж она то знала.

— У нее, поди, этих собак за долгую жизнь целая свора перебывала?

— Ну да, наверное, не мало пришлось ей, бедненькой, перестрадать: «Алевтя, говорит, дорогая, верь мне — у них у всех только бабы на уме». Все понимала. Часто ее вспоминаю. Иногда забежишь послушать какой нибудь доклад. Ходит по эстраде общественный деятель или какой нибудь там профессор-бородач, голова копной. Смотрю на него и думаю: «Бреши, бреши, меня не надуешь. Знаю, что у тебя в голове». Да, дорогая моя, не даром Пушкин писал:

«Мужчины по улицам рыщут,
Даму сердца себе ищут!»

— Ну, что вы! Когда же это Пушкин писал?

— Да уж писал, нас с вами не спросил. И подумать только, что Шура, молоденькая, хорошенькая и вдруг выходит замуж. Я ее матери прямо сказала: ваша Шура дура. А та: «Ах-ах, он такой интересный и со средствами, и с положением». А я ей: «Пусть с положением, я не спорю. А что он ее любит, так на это я вам прямо скажу: верить не верьте, а у него по отношению к ней простая порнография». Ну да, разве эти идиотки способны понимать! Боже мой, сколько я видела на своем веку мужской подлости! Да вот еще недавно зашла в кафэ, смотрю за столиком знакомая рожа. Генерал Кухормин. С молоденькой. Сидят, кофий пьют. А он так весь и блекочет. Стыд и срам. Я даже свое мороженое не доела, ушла и не

заплатила — так мне противно стало. На другой день встречаю его у Буркаловых, отвела в сторону и говорю:

— Видела вас. Я, конечно, Софье Петровне ничего не скажу, но вам мое негодование выражаю от души.

Так этот подлец, можете себе представить, еще оправдываться стал:

— Тут, говорит, ничего особенно дурного нет, человеку иногда хочется немножко встряхнуться. Я Софью Петровну глубоко ценю и уважаю, но у меня к ней нет эротических эмоций.

— Слышали вы свинью! Эмоций у него нет! К благороднейшей женщине, которая отдала ему сорок пять лет своей цветущей жизни, родила восемь человек детей, была образцовой хозяйкой (какие пироги!), которая вся в ревматизмах, в подаграх, в ишиасах, в печени, в золотухе, в желтухе, в ожирении сердца, ноги, как колоды — я сама видала. Так к такой женщине у него, изволите ли видеть, нет эротических эмоций, а к накрашенной девчонке-балаболке у него эмоции! Ведь каким надо быть подлецом, чтобы до этого договориться! Я хотела было закатить ему тут же пощечину, да как раз пригласили к столу, так уж было неудобно.

Ах, многое могла бы я вам рассказать об этих «подлецах».

Вот, например, жил в нашем городе один помещик Колышев. Человек богатый, но рыло прямо, что говорится — естественное. Пузатый, нос трубой, вечно рот разинут и язык набекрень. И целые дни за дамами бегал. Пойдет в ресторан — там уже его четверо ждут. Пойдет в кафэ — там пятеро в окошко высматривают — не идет ли.

— Позвольте, так ведь это выходит, что дамы за ним бегали, а не он за ними?

— Ну, знаете, так все повернуть можно. Если этот негодяй просит, умоляет, заклинает притти, так, конечно, не у всякой женщины хватит духа отказать.

Ну-с, так вот прицепился этот самый Квазиморда к одной нашей барыньке, к Поленьке Окурко. Поленька была так себе, легкомысленная дамочка. Ну да она этого и не скрывала. Она прямо говорила: «Э, что там!». Очень была искренняя, свежая душа.

И вот, прилип к ней этот гад, чтобы поехала она с ним за границу, что он всяких подарков накупит, а если она ему будет верна три месяца, так он в ее пользу завещание сделает. И даже намекнул, что у него порок сердца, значит в том смысле, что завещание не пустой райский звук.

Ну, Поленька подумала, посоветовалась со своим парикмахером и решила ехать. Три месяца не такой долгий срок, вытерпеть еще можно, а там Бог даст он от путешествия переутомится и завещание вступит в законную силу.

Ну, и поехала.

Поехала она, и как раз так вышло, что и я тоже отправилась за-границу, в Венецию. Остановилась в отеле, смотрю на дощечке: «Синьор Колышев». Ага, думаю, вот они, наши, где. И комната оказалась на том же коридоре.

Ну, Поленька, как только узнала, что я здесь, сейчас же ко мне прибежала.

Она хотя и была легкомысленная, но я ей очень симпатизировала. Что-ж, думаю, одинокая женщина перебивается как может. Человек она искренний, простой.

Расспросила ее, как она себя чувствует.

— Заграница очень мне, — говорит, — понравилась. Такие здесь все душки, ходят чистенькие, глазками по-

маргивают совсем на особый манер, не как у нас. А тут, говорит, вчера какой-то совсем бурый человек приехал, вроде арапа. Ну, такой интересный, что прямо смотрю на него разиня рот, а что делать — не знаю. Не знаю, как арапу полагается улыбнуться, чтобы он русскую душу понял.

— Ну, а как же, спрашиваю, ваш урод, прилично себя ведет?

— Нет, говорит, урод мой форменный негодяй. Клялся, божился, сулил золотые горы, а всего то гор, что купил в Вене три пары чулок, а в Триесте платяную щетку, да зубную щетку. Чего то его в Триесте на щетки расщедрило, от жары, что ли. Только и всего. Да и то платяной щеткой сам пользуется, еще пожалуй отберет.

— Вот, говорю, негодяй! Ну, а на счет завещания, что слышно?

— Все повторяет, будто, если три месяца выдержу, так все мое. Только ревнует, шпионит, дыхнуть не дает. Прямо беда!

Ну, я ее как могла успокоила — три месяца, конечно, срок большой, но четыре недели уже пронесло благополучно.

— Хоть и шпионил, как чорт, да не поймал.

— А разве, спрашиваю, было на чем ловить?

— Ну, знаете, — говорит, — такой негодяй все может в дурную сторону повернуть.

Ну, вот живем мы в этом самом отеле, но встречаемся не часто. У меня свои знакомые, а с этим уродом, признаюсь, не очень и стремилась видеться.

И вот как-то ночью, только что собралась я свечку погасить, вдруг дверь распахивается и влетает эта самая Поленька и — можете себе представить — в одной рубашке.

— Что такое? Что случилось?

Она дрожит.

— Спрячьте меня скорее! Подлец меня ищет! Убьет!

— Накиньте, — говорю, — хоть капот. Как же вы голая по коридору?

— Ради Бога, скажите, что я весь вечер у вас. Я, понимаете ли, у арапа была. Мой урод в кафэ пошел, а я сказала, что голова болит. Подумайте только — ведь никогда в жизни не было у меня романа с арапом, да наверное больше и не будет. Ну, где у нас в Рязанской губернии арапа найдешь? А тут такой случай — неужели же упускать? Ведь идиотство!

Ну, что-ж, — это, действительно, было бы идиотством. И из-за кого, подумаешь? Из-за Квазиморды.

— Ложитесь, — говорю, — ко мне в постель, уж я вас отстою.

Не прошло минуты — трах тарарах! Барабанят в дверь.

— Кто там?

— Колышев. Она у вас?

— Ну, конечно, говорю, у меня. Брала ванну и пришла ко мне отдохнуть.

— Клянитесь, — рычит, — что это правда.

— Ах, вы, говорю, негодяй невоспитанный! Да как вы смеете по ночам ломиться в комнату, где приличные дамы отдыхают. Убирайтесь сейчас же или я директора вызову.

А Поленька просит:

— Додержите меня только до утра, он за это время остынет, а уж там я вывруcь.

Ну, ничего, она, бедненькая, действительно, кое как выврáлась.

Потом я скоро уехала, а он ее еще раза два поймал

Подумайте только, какой негодяй! Ну, она, конечно, не вытерпела и сбежала с каким то типом в Берлин. Так, не серьезно. Недельки на две. А он, Квазимордa то, вернулся в наш город, простудился, всю зиму прохворал, а к весне и помер.

И тут только после его смерти окончательно открылась вся подлость его души. Представьте себе, ведь этот негодяй бедной Поленьке не оставил ни гроша. Ну, буквально таки ни гроша. Как вам это нравится?

— И все они таковы. Все. Вот заметьте: если женщина влюбится, так сейчас же думает — что бы такое своему предмету подарить? Портсигарчик, галстучек или вышить что нибудь? А мужчина, если заинтересовался вашей красотой, так сейчас ему, подлецу, подавай что нибудь «на память». А какая такая память, когда он с утра до вечера перед носом торчит. Когда ему забывать то? Тут один тип полчаса за мной поухаживал и уж успел платок стянуть. Схватил, нюхал-нюхал, да и в карман. Ужасно, подумаешь, обольстил. А у меня этих платочков с кружевцами и всего то полдюжины было. Только разрознил.

Ларисса замуж выходила, так нашла у мужа в письменном столе затыканы меж окладных листов тридцать два дамских платочка.

Так эта дура еще гордилась:

— Он у меня был дон-жуаном.

— А по-моему, — говорю, — тебе бы лучше справку навести, может он не дон-жуан, а вор-домушник.

Так ведь обиделась. Ну да Бог с ней. Я не сержусь. Я ее жалею. Много ей с этим подлецом пришлось слез пролить. Только детки подрастать стали, приставила она к ним бонну из русских немок, для французского языка.

Все, как в хороших домах. Только слышит — муж все чего то декламирует:

— «Люблю тебя, Петра творенье!»

— Это, говорит, из классиков.

Ну ей, как жене, конечно, приятно. Только вдруг, как бревном по лбу. Ведь бонну то зовут Анна Петровна! Вот тебе и Петра творенье. Выгнала? Ну, разумеется, выгнала. Он, подлец то, конечно, разыграл удивленье и смех. Разве им это дорого стоит! Они такую комедию разыграть могут, что нам и в голову не придет. Они на зло даже умереть могут. Ей Богу.

Анюта Латузину помните? Как — не знали? Быть не может! Вы — нашего города. Злосчастная женщина. Вот мученица была! Муж, понимаете ли, инженер. Целые дни носом в чертежи уткнется и хоть ты об стену головой колотись. Да еще чахоточный. Жена, как рыба об лед бьется: и по магазинам бегай, и обеды заказывай, гостей принимай. А он сидит да мосты высчитывает. Как вам это нравится? А тут как то к весне и совсем раскис. Она, конечно, нервничает, сердится. Вполне естественно. Ну и, значит, предлагает мне — поедем вместе в Аббацию. Там у нее в то время папенька от подагры отдыхал. Тоже, должно быть, в свое время типик был. Недаром от него жена сбежала и всю кассу уволокла. Ну, да Анюта его уважала. Должно быть, за старость. Ну, что-ж, отчего же не проехаться? Живо собрались. Старшие ее девочки при отце остались. Им уж было лет по пятнадцати, по шестнадцати. Не возить же хорошенькой молоденькой дамочке таких телушек с собой. А младшего, шестилетнего Володюшку взяла.

Приехали. В Аббации красота, море — умирать не

надо. Папенька ничего себе старый хрен. Бровищи седые и все что то ел. Его доктора на диэту посадили, так он два обеда съедал — один общий, да один особливый, диэтный. «Я, говорит, таким образом хотя на половину, а все-таки лечусь». Ну, словом, ничего себе. И дочка его любила. У него, впрочем, и деньжонки водились. Если родитель с деньгами, так его как то легче любить. Естественнее. Ну вот, живем мы да поживаем, и вдруг откуда ни возьмись, накатил шквал. На горе, как говорится, и палка выстрелит. Короче говоря, влюбилась наша Анюта в кучера. Кучер там был. Молодой, здоровенный детина. Швейцарец. Только на летний срок приезжал. Возил туристов на Монтенегро. Румяный, как чорт. И влюбилась в него Анюта, как говорится, первой любовью. Скандалит, ревнует. Целые дни катается и чтобы не смел других возить. Накупила ему подарков — бич с серебряной ручкой, куртку белую кожаную, шелками вышитую. Красота. Скандал! Ну что поделаешь? И как осудишь, раз это ее первое светлое чувство?

Ну, кучер ничего себе. Сколько возможно шел навстречу. Но ведь надо принять во внимание — четверка лошадей — целая конюшня. И чисти, и корми, и пои, и запрягай, и подавай. Но главная беда, что наша Анюта по-швейцарски ни бэ, ни мэ, ни кукареку. А он как раз из такого кантона, где больше кретины живут, и очень трудный выговор. Слово вроде немецкого, а значение совсем наоборот. А Анюта, вообще, насчет языков была дубовата.

— Как же, — спрашиваю, — ты с ним объясняешься?

— Да как, говорит, беда. Все больше конскими словами — «гоп!» да «стоп!» Очень для сложного переживания трудно.

Купила ему сапоги с крагами. Я уж даже ей валерьянку стала давать.

А тут как на грех все новенькие туристки приезжают, ну и, конечно, нанимают кучера осматривать окрестности. Был при отеле и автомобиль, но все предпочитали экипаж — приятнее и лучше можно любоваться пейзажами.

Ну, а наша бесится. Еще немножко стеснялась своего папеньки, а то прямо не знаю что бы и было.

Папенька, старый эгоист, конечно, думал только о себе, а что у дочери такие исключительные переживания, так он даже и не замечал.

Выходить из дому он не мог, так только ковылял по комнатам с палочкой. Ноги от подагры еле гнулись.

Вот как то раз вечером понесло этого старого чорта к Анюте в комнату и как раз в то время, как у нее кучер был. И чего этим лешим покоя нет? Ну, сам не спишь, так хоть других не тревожь.

Услышала Анюта, бедняжечка, его шаги в коридоре, натурально, испугалась и спрятала кучера к своему мальчику под кровать. Мальчик спал крепко, ничего не слыхал.

Вот лезет папенька в комнату.

— Мне, — говорит, — Нюточка, захотелось на Володьку взглянуть, как он спит.

Тоже, подумаешь, нашел зрелище. Ну, спит мальчишка и спит. Есть на что смотреть!

Но это бы еще не беда. А беда то, что за стариком увязалась хозяйская собачища. Так, дрянь какая-то, ни породы, ни моды. И вдруг, понимаете, пробудился в ней охотничий дух. Надулась вся, шерсть ершом и ну — лаять под кровать. Лает и лает, аж хрипит.

Старик взволновался.

— Что это, — говорит, — у тебя тут, душенька, де-

лается? Право что то неладное. Чего это собака так под кровать лает и в комнате конюшней пахнет? Уж не залез ли кто?

Ну, Анюта не растерялась.

— Это, — говорит, — очень даже для ребенка хорошо и здорово.

А старик па себя дурь напустил.

— Что для ребенка, — говорит, — здорово? Чтобы к нему под кровать залезали?

Ну, Анюта, натурально, нервничает.

— Что вы за пустяки говорите. Не залезать здорово, а здорово, когда конюшней пахнет. Нормальный животный запах полезен для легких до такой степени, что его даже нарочно распространяют по комнатам, где есть дети.

Но старик, однако, не успокоился.

— Нет, душенька, тут что то не так. Чего же собака то лает? Уж ты не спорь. Наверное, кто нибудь да залез. Надо позвать прислугу.

Ведь эдакий осел!

Бедная Анюта прямо из себя выходит. Одно спасенье, что старик не сгибается и заглянуть под кровать не может.

— Там, — говорит она, — наверное, кролик сидит. Сегодня мальчику кролика играть давали. Я лучше собаку выгоню, а то еще загрызет.

Насилу вытурила их обоих, и старика и собаку.

А кучер потом стал капризничать.

— Мне, — говорит, — ваша собаченка еще нос откусит.

Еле его успокоила.

И вот раз встречаю я Анюту — что такое? Сама не своя. Расстроенная, сердитая.

— Ужасный, — говорит, — день! Прямо одна беда за другой. Из дому письмо пришло — муж помирает. А тут кучер кнут потерял. Все одно к одному. И еще веселенькая новость: приехали две хорошенькие барышни и не успела я принять меры, как они уже укатили с кучером до вечера. Я прямо покончу с собой.

Ну, я спросила, правда ли, что ее мужу так уж плохо.

— Ах, — говорит, — это такой подлец, вы его еще не знаете. Он способен на зло захворать именно потому, что я сейчас погружена в такие сложные чувства.

Об этом письме, однако, как то пронюхал старик — всюду они нос суют! — и велел телеграммой запросить.

Запросила.

Приходит ко мне Анюта вся в слезах.

— Получен ответ, что если хочу застать в живых, должна немедленно ехать.

Я смотрю на нее, удивляюсь.

— Нюточка, — говорю, — чего же ты плачешь? Он же давно хворает. К чему же такая чувствительность?

А она еще больше плачет.

— Это, — говорит, — такое свинство! Это, — говорит, — самое последнее хамство — помирать именно теперь, когда я не могу оставить кучера одного из-за этих двух бесстыдниц, которые не знаю на что способны.

Старик, однако, настоял, чтобы она уехала.

Поехала. Взяла всего багажа только пилочку для ногтей и из Вены назад вернулась.

— Не могу, — говорит. — У меня все время разрыв сердца делается.

Все, однако, обошлось сравнительно благополучно — в тот же день пришла телеграмма, что ее тошный инженер отдал Богу душу. Ехать, значит, было уже неза-

чем. Хотя старик что то заерундил, что, мол, неприлично не присутствовать на похоронах. Но бедняжка Анюта нашла в себе достаточно энергии, чтобы отстоять свою независимость.

И действительно — положение тревожное, кучер катает своих негодяек и на гору, и к морю, прямо как последний подлец, а тут изволь все бросать и ехать. И для чего? Чтобы угодить посмертному эгоизму бывшего мужа, который, может быть, и невольно, а все таки сыграл довольно подленькую роль в эти последние дни.

Сезон кончался, и я уехала. Так и не знаю, чем все завершилось. И Анюту больше не видела, они все куда то переехали.

Да, Анюту я не видала, но случайно, лет через десять, услышала о ней. И так удивительно все вышло.

Жила я тогда в Одессе. И вот зашла как то к своему парикмахеру, а тот мне и рассказывает..

— Была у меня сегодня какая то новая клиентка, сумасшедшая баба. Все ждала какого то кавалера, и по телефону звонила, и на улицу выбегала. Бутылку лосиону пролила, лампу опрокинула, чуть пожару не наделала, а потом вдруг схватилась и куда то полетела, и вот бумажничек забыла, не знаю как быть.

Показывает мне бумажничек. Разворачиваю, а там письма на имя — как вы думаете кого? Анны Ивановны Латузиной, вот кого! Вот кто кавалера то ждал, и по телефону вызванивал.

— Бедная, бедная ты моя старадалица! Опять, думаю, какой нибудь подлец терзает твое голубиное сердце! Мало ты от законного мужа страдала, так вот!

И за что?

ВИРТУОЗ ЧУВСТВА

Всего интереснее в этом человеке — его осанка.

Он высок, худ, на вытянутой шее голая орлиная голова. Он ходит в толпе, раздвинув локти, чуть покачиваясь в талии и гордо озираясь. А так как при этом он бывает обыкновенно выше всех, то и кажется, будто он сидит верхом на лошади.

Живет он в эмиграции на какие-то «крохи», но в общем недурно и аккуратно. Нанимает комнату с правом пользования салончиком и кухней и любит сам приготовлять особые тушеные макароны, сильно поражающие воображение любимых им женщин.

Фамилия его Гутбрехт.

Лизочка познакомилась с ним на банкете в пользу «культурных начинаний и продолжений».

Он ее, видимо, наметил еще до рассаживания по местам. Она ясно видела, как он, прогарцовав мимо нее раза три на невидимой лошади, дал шпоры и поскакал к распорядителю и что-то толковал ему, указывая на нее, Лизочку. Потом оба они, и всадник, и распорядитель, долго рассматривали разложенные по тарелкам билетики с фамилиями, что-то там помудрили, и, в конце концов, Лизочка оказалась соседкой Гутбрехта.

Гутбрехт сразу, что называется, взял быка за рога,

то-есть, сжал Лизочкину руку около локтя и сказал ей с тихим упреком:

— Дорогая! Ну, почему же? Ну, почему же нет?

При этом глаза у него заволоклись снизу петушиной пленкой, так что Лизочка даже испугалась. Но пугаться было нечего. Этот прием, известный у Гутбрехта под названием «номер пятый» («работаю номером пятым») назывался среди его друзей просто «тухлые глаза».

— Смотрите! Гут уже пустил в ход тухлые глаза!

Он, впрочем, мгновенно выпустил Лизочкину руку и сказал уже спокойным тоном светского человека:

— Начнем мы, конечно, с селедочки.

И вдруг снова сделал тухлые глаза и прошептал сладострастным шопотом:

— Боже, как она хороша!

И Лизочка не поняла, к кому это относится — к ней или к селедке, и от смущения не могла есть.

Потом начался разговор.

— Когда мы с вами поедем на Капри, я покажу вам поразительную собачью пещеру.

Лизочка трепетала. Почему она должна с ним ехать на Капри? Какой удивительный этот господин!

Наискосок от нее сидела высокая полная дама, кариатидного типа. Красивая, величественная.

Чтобы отвести разговор от собачьей пещеры, Лизочка похвалила даму.

— Правда, какая интересная?

Гутбрехт презрительно повернул свою голую голову, так же презрительно отвернул и сказал:

— Ничего себе мордашка.

Это «мордашка» так удивительно не подходило к величественному профилю дамы, что Лизочка даже засмеялась.

Он поджал губы бантиком и вдруг заморгал, как обиженный ребенок. Это называлось у него «сделать мусеньку».

— Летка! Вы смеетесь над Вовочкой!

— Какой Вовочкой? — удивилась Лизочка.

— Надо мной! Я Вовочка! — надув губки, капризничала орлиная голова.

— Какой вы странный! — удивлялась Лизочка. — Вы же старый, а жантильничаете, как маленький.

— Мне пятьдесят лет! — строго сказал Гутбрехт и покраснел. Он обиделся.

— Ну да, я же и говорю, что вы старый! — искренно недоумевала Лизочка.

Недоумевал и Гутбрехт. Он сбавил себе шесть лет и думал, что «пятьдесят» звучит очень молодо.

— Голубчик, — сказал он и вдруг перешел на ты. — Голубчик, ты глубоко провинциальна. Если бы у меня было больше времени, я бы занялся твоим развитием.

— Почему вы вдруг говор...... — попробовала возмутиться Лизочка. Но он ее прервал:

— Молчи. Нас никто не слышит.

И прибавил шопотом:

— Я сам защищу тебя от злословия.

— Уж скорее бы кончился этот обед! — думала Лизочка.

Но тут заговорил какой-то оратор, и Гутбрехт притих.

— Я живу странной, но глубокой жизнью!—сказал он, когда оратор смолк. — Я посвятил себя психоанализу женской любви. Это сложно и кропотливо. Я произвожу эксперименты, классифицирую, делаю выводы. Много неожиданного и интересного. Вы, конечно, знаете Анну Петровну? Жену нашего известного деятеля?

— Конечно, знаю, — отвечала Лизочка. — Очень почтенная дама.

Гутбрехт усмехнулся и, раздвинув локти, погарцовал на месте.

— Так вот эта самая почтенная дама — это такой бесенок! Дьявольский темперамент. На-днях пришла она ко мне по делу. Я передал ей деловые бумаги и вдруг, не давая ей опомниться, схватил ее за плечи и впился губами в ее губы. И если бы вы только знали, что с ней сделалось! Она почти потеряла сознание! Совершенно не помня себя, она закатила мне плюху и выскочила из комнаты. На другой день я должен был зайти к ней по делу. Она меня не приняла. Вы понимаете? Она не ручается за себя. Вы не можете себе представить, как интересны такие психологические эксперименты. Я не Дон-Жуан. Нет. Я тоньше! Одухотвореннее. Я виртуоз чувства! Вы знаете Веру Экс? Эту гордую, холодную красавицу?

— Конечно, знаю. Видала.

— Ну, так вот. Недавно я решил разбудить эту мраморную Галатею! Случай скоро представился, и я добился своего.

— Да что вы! — удивилась Лизочка. — Неужели? Так зачем же вы об этом рассказываете? Разве можно рассказывать!

— От вас у меня нет тайн. Я ведь и не увлекался ею ни одной минуты. Это был холодный и жестокий эксперимент. Но это настолько любопытно, что я хочу рассказать вам все. Между нами не должно быть тайн. Так вот. Это было вечером, у нее в доме. Я был приглашен обедать в первый раз. Там был, в числе прочих, этот верзила Сток или Строк — что то в этом роде. О нем еще говорили, будто у него роман с Верой Экс. Ну да это ни

на чем не основанные сплетни. Она холодна, как лед, и пробудилась для жизни только на один момент. Об этом моменте я и хочу вам рассказать. Итак, после обеда (нас было человек шесть, все, повидимому, ее близкие друзья), перешли мы в полутемную гостиную. Я, конечно, около Веры на диване. Разговор общий, мало интересный. Вера холодна и недоступна. На ней вечернее платье с огромным вырезом на спине. И вот я, не прекращая светского разговора, тихо, но властно протягиваю руку и быстро хлопаю ее несколько раз по голой спине. Если бы вы знали, что тут сделалось с моей Галатеей! Как вдруг оживился этот холодный мрамор! Действительно, вы только подумайте: человек в первый раз в доме, в салоне приличной и холодной дамы, в обществе ее друзей, и вдруг, не говоря худого слова, тоесть, я хочу сказать, совершенно неожиданно, такой интимнейший жест. Она вскочила, как тигрица. Она не помнила себя. В ней, вероятно, в первый раз в жизни проснулась женщина. Она взвизгнула и быстрым движением закатила мне плюху. Не знаю, что было бы, если бы мы были одни! На что был бы способен оживший мрамор ее тела. Ее выручил этот гнусный тип Сток, Строк. Он заорал:

— «Молодой человек, вы старик, а ведете себя как мальчишка», и вытурил меня из дому.

С тех пор мы не встречались. Но я знаю, что этого момента она никогда не забудет. И знаю, что она будет избегать встречи со мной. Бедняжка! Но ты притихла, моя дорогая девочка? Ты боишься меня. Не надо бояться Вовочку!

Он сделал «мусеньку», поджав губы бантиком и поморгав глазами.

— Вовочка доблененький.

— Перестаньте, — раздраженно сказала Лизочка. — На нас смотрят.

— Не все ли равно, раз мы любим друг друга. Ах, женщины, женщины. Все вы на один лад. Знаете, что Тургенев сказал, то-есть Достоевский — знаменитый писатель-драматург и знаток. «Женщину надо удивить». О, как это верно. Мой последний роман... Я ее удивил. Я швырял деньгами, как Крез, и был кроток, как Мадонна. Я послал ей приличный букет гвоздики. Потом огромную коробку конфет. Полтора фунта, с бантом. И вот, когда она, упоенная своей властью, уже приготовилась смотреть на меня, как на раба, я вдруг перестал ее преследовать. Понимаете. Как это сразу ударило ее по нервам. Все эти безумства, цветы, конфеты, в проекте вечер в кинематографе Парамоунт и вдруг — стоп. Жду день, два. И вдруг звонок. Я так и знал. Она. Входит, бледная, трепетная... «Я на одну минутку». Я беру ее обеими ладонями за лицо и говорю властно, но все же — из деликатности — вопросительно:

— Моя?

Она отстранила меня...

— И закатила плюху? — деловито спросила Лизочка.

— Н-не совсем. Она быстро овладела собой. Как женщина опытная, она поняла, что ее ждут страдания. Она отпрянула и побледневшими губами пролепетала:

— Дайте мне, пожалуйста, двести сорок восемь франков до вторника.

— Ну и что же? — спросила Лизочка.

— Ну и ничего.

— Дали?

— Дал.

— А потом?

— Она взяла деньги и ушла. Я ее больше и не видел.

— И не отдала?

— Какой вы еще ребенок! Ведь она взяла деньги, чтобы как нибудь оправдать свой визит ко мне. Но она справилась с собой, порвала сразу эту огненную нить, которая протянулась между нами. И я вполне понимаю, почему она избегает встречи. Ведь и ее силам есть предел. Вот, дорогое дитя мое, какие темные бездны сладострастия открыл я перед твоими испуганными глазками. Какая удивительная женщина! Какой исключительный порыв!

Лизочка задумалась.

— Да, конечно, — сказала она. — А, по моему, вам бы уж лучше плюху. Практичнее. А?

НЕРАССКАЗАННОЕ О ФАУСТЕ

Снилось ему, что он снова стоит перед Мефистофелем и снова заклинает:

Ach, gieb mir wieder jene Triebe
Das tiefe Schmerzenfolle Glück,
Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe,
Gieb meine Jugend mir zurück.

— Дай счастье, полное боли!

— Дай силу ненависти!

— Дай могущество любви!

— Верни мне мою молодость!

Сон был беспокойный, но в первый раз за много лет проспал он до десяти часов.

Проснулся, потянулся и с удивлением заметил, что поясница не болит.

Привычным движением ухватил себя за подбородок, чтобы вытянуть из-под одеяла свою длинную жидкую, седую бороду. Ухватил и замер. Бороды не было. Курчавились короткие густые завитки. Тут он вскочил, сел, спустил ноги с кровати и все вспомнил.

— Я молод!

И сразу неистово захотел есть.

Посмотрел у себя в шкапчике. Нашел полстакана кислого молока и маленький сухарик. Это был его обыч-

ный завтрак, который он разрешал себе в шесть часов утра после целой ночи лабораторной работы.

Теперь в одну секунду сглотнул он молочную кислятину, схрупал сухарь и прищелкнул языком.

— Мало!

Подумал и пошел в другую комнату, где днем работал его ученик.

— Вагнер, — вспомнил он, — вечно что-то жует. Наверное у него что нибудь припрятано.

Пошарил по всем углам и нашел за банкой с гомункулусом большой кусок колбасы и пумперникель.

— Хорошо бы к этому выпивку, — пробормотал он и сам смутился такой непривычной для своего мозга мысли.

— Хорошо бы пива!

Но пива не было. Тогда глаза его остановились на банке с гомункулусом. В банке был спирт.

И снова заработала мысль непривычно и жутко. Вспомнилось, как забрались как-то к нему в лабораторию соседние школьники и выпили спирт из-под жабьего сердца, которое предполагалось венчать с черной лилией.

— Мальчишки были довольны, несмотря на то, что Вагнер их выдрал.

Здесь воспоминания оборвались, и Фауст перешел к реальной жизни. Разорвал пузырь, закупоривавший банку, и хлебнул. Хлебнул, крякнул и вонзил зубы в колбасу:

— Блаженство.

Чуть было не крикнул «остановись мгновенье»! — но вспомнил, что этого то как раз и нельзя. Покрутил головой, посмеялся, доел колбасу и пошел одеваться.

Тут он с досадой заметил, что от молодости стал весь больше и толще, что платье трещит на нем по всем

швам. Кое-как натянул его, надел шляпу, схватил было палку, да вспомнил, что теперь она не нужна, и вышел на улицу. Помнил, что нужно было зайти к старому алхимику потолковать насчет соединения Льва с Аметистом, но вдруг и алхимик, и Лев, и Аметист показались ни к чорту не нужными. А гораздо неотложнее почувствовался план пойти в бирхалку.

— Я молод! — ликовал он. — Теперь жизнь даст мне то, чего я желал, за что продал душу чорту. «Глубокое до боли счастье, силу ненависти, могущество любви... юность».

Он шел в бирхалку.

— Я, старый доктор Фауст, знаю, что должен пойти к алхимику, а вот иду в бирхалку. Это меня моя дурацкая молодость мутит. И ничего не поделаешь. Неужели я стал лентяем? Странно и нехорошо.

Но поступил он именно странно и нехорошо. Пошел в бирхалку.

Народу там было уже много. Чтобы получить место, пришлось схитрить. Подстерег минутку, когда один уютный старичек поднялся, чтобы поздороваться с приятелем, и живо занял его место. Старичек вернулся, обиделся, заворчал.

— Да, — поддержал его другой старичек. — Теперь молодежь стала не только нелюбезная, а прямо наглая. Вот, молодой человек, — обратился он к Фаусту, — в наше время юноша не только не позволил бы себе занять место пожилой персоны, но, наоборот, уступил бы ей свое собственное.

— Стыдно, молодой человек! — ворчал обиженный старичек. — Что из вас выйдет, когда вы войдете в лета? Лоботряс из вас выйдет, бездельник, неуч и нахал.

— Неуч? — удивился Фауст. — Я доктор. Я философ.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — дружно расхохотались все кругом.

— Вот шутник!

— Да он пьян!

— Как распустилась наша молодежь! Вместо того, чтобы учиться и работать, сидит с утра в бирхалле.

— И скандалит.

— И врет.

— Вылить ему пиво за шиворот, — предложил кто-то.

— Ну, задевать его не советую. Парень здоровый.

Фауст обвел присутствующих глазами. Все лица насмешливые, недружелюбные.

— Драться?

Он не знал, сильный он, или слабый. От волнения забыл, что он молод и поспешил убраться из кабачка.

На улице было весело. День солнечный, яркий. За углом трещал барабан, проходили солдаты. Фауст залюбовался на их крепкие бодрые фигуры, на молодецкий шаг, на сильные ноги.

— О, если бы вернуть молодость! — вздохнул он по старой привычке.

— Ты чего толкаешься? — огрызнулась на него прохожая старушонка. — Чего на фронт не идешь? Смотрите, господа хорошие, какой здоровенный парень болтается зря, а родину защищать не желает.

— Стыдно, молодой человек, — сказал почтенный прохожий. — Воевать не идете и, вон, старуху обидели.

— Это какой-то подозрительный субъект! — пискнул кто-то. — Вон, и одет, как стрекулист.

— А и верно, — поддержал другой. — Платье-то не

по нем шито, стариковский кафтан. Видно, ограбил какого ни на есть старика.

— Арестовать бы его, да выслать.

— Чего тут. Ясное дело — нежелательный иностранец.

Подошел сторож с алебардой.

— Поймали? — спросил.

— Поймали.

— Ну, так идем в участок.

Сторож ухватил Фауста за шиворот.

— Отправят на фронт, — говорили в толпе.

— Эх, молодежь, молодежь, как распустилась!

Фауст отбивался, как мог, и вдруг развернулся и трахнул сторожа в скулу.

«Des Hasses Krafft» — сила ненависти, вспомнилось ему.

— Ловко, чорт возьми! — громко крикнул он.

— Возьми? — переспросил знакомый голос. — Беру!

За его плечом улыбалась симпатичная знакомая рожа Мефистофеля.

— Беру! — повторил Мефистофель.

— Пусти-ка его, голубчик, — сказал он сторожу. — Это мой приятель.

Он нагнулся и пошептал сторожу что-то на ухо. Тот осклабился, удивленно уставился на чорта и отпустил Фауста.

Мефистофель подхватил Фауста под руку и спокойно повел его вдоль улицы.

— Куда же мы идем? — спросил Фауст.

— Фланировать, — отвечал чорт. — Молодые люди всегда фланируют. Пойдем, вон на площади танцуют. Там встретишь Маргариту.

— Маргарита! Маргарита! Маргарита! — сердито думал Фауст, шагая по своей лаборатории. — Само собою разумеется, что это ее чорт мне подсунул.

В лаборатории было скверно, темно, пыльно. Вагнер давно удрал.

— Я был послушным учеником мудрого доктора Фауста, — сказал он. — Но что мне делать с этим рыжим малым, от которого с утра пивом несет и который говорит только о девчоночках? Я себя слишком уважаю, чтобы оставаться здесь.

Прихватил черного кота, белого петуха, магическую палочку и ушёл.

— Чорт оказался форменным болваном, — ворчал Фауст. — Ведь, что он воображает? Он воображает, что у меня, у молодого Фауста, остался стариковский вкус. Что такая молоденькая, розовая телятинка закроет для меня весь мир? Дурак чорт. Вообще хитер, а в эротике — ни черта. Мне, молодому человеку, нужно совсем не то, о чем мечтал слюнявый старичек доктор Фауст. Мне нужна какая-нибудь ловкая прожженная кокетка, крррасавица грррафиня, жестокая, яркая, чтобы закружила, закрутила, замучила. А Гретхен? Ведь, в сущности, это та же полезная простоквашка, которую я, бывало, ел по утрам.

Он остановился, прислушался к себе.

— Странно! С молодостью у меня мысли стали простые и совсем ясные. Все мои знания остались, как были. Ничто не забыто, все со мной. А между тем, все както опростело.

С улицы донесся треск барабана, выкрики.

— Солдаты идут. Странное дело — хочется поработать в лаборатории, а услышу барабан, — тянет маршировать. Рраз-два!.. Рраз-два!.. Прямо что-то унизитель-

ное. И потом этот гнусный аппетит, страстный интерес к еде и к выпивке. Не тот гурманский, какой бывает у старичков, — грибочки, винцо, цыпленочек, кисленькое. Нет. Здоровенный интерес, ражий, ярый. И при этом веселый интерес. Вся душа радуется, лучится, искрится от жареной колбасы с пивом.

Фауст сел, опустил голову на руки. Грустно затих.

— Унизил меня чорт. Подло с его стороны. Не потакать нужно было, а отговорить. Ну, да теперь ничего не поделаешь. Иду к Маргарите наслаждаться вечно-женственным. Прихвачу брошечку...

— Голубчик, чорт, — говорил через несколько дней Фауст Мефистофелю. — Гретхен очаровательна. Я сам ее выбрал, хотя теперь и подозреваю, что это ты мне ее подсунул. Но здесь (как будут выражаться через несколько веков), здесь наблюдается явная неувязка. Чем больше я об этом думаю, тем меньше понимаю. Почему ты велел поднести ей целую шкатулку с финтифлюшками? Она должна была потерять от меня голову без всяких сережек. Я молод. По-моему, ты тут что-то напутал: Сережки нужны старичкам. А у меня «Mach der Liebe», могущество любви. Зачем же сережки? Это для меня унизительно. Чего же ты молчишь? Молчит. Я эдак начну сомневаться в могуществе любви. Это совсем не входит в мои планы. За что же я тогда душу-то продавал? За что боролись? Молчит. И потом, голубчик, еще одна деликатная деталь. Да, я молод. Телу моему, действительно, двадцать лет. Но ведь душе то моей — это, конечно, между нами, — все-таки третьего дня исполнилось семьдесят шесть. Это надо учесть. Мне скучно... Ну, конечно, Маргарита душечка, пышечка, одно очарование. Но ведь она — это тоже между нами, — ведь она дура петая. Вот, например, вчера ночью, сидим мы вдвоем в саду. Розы

благоухают: Ох, эти заклятые цветы! Как от них кружится голова... Скоро рассвет. И соловей замолчал. Как чудесна эта сладкая истома молодого, сильного тела. Оно, как соловей, пропевший предрассветную песнь, задремавший среди цветов сирени. Дремлет. А душа не спит. Душа как бы освободилась от власти тела, от Schmerzenfolle Glück, углубилась в свое святая святых. Я заговорил о лаборатории, о философском камне. А Гретхен, — она, конечно, милая девочка, — она насушила тыквенных семячек, — сидит и лущит. Ну, что мне делать, чорт? Мне ску-у-учно! Идти опять в лабораторию, — как-то неловко. Выйдет, что я дурак. Желал, рыдал, душу поставил на карту. Чорт! Будь порядочным дьяволом, верни мне мою седую бороду! Верни мне мою золотую старость!

ЯГО

Все мы знаем, что бывают люди симпатичные и несимпатичные. Это совершенно независимо от того, что сделают они нам зло, или будут добры к нам.

Симпатичный человек иногда так обведет вас вокруг пальца, так использует свою симпатичность для собственной выгоды, что вы потом долго удивляетесь, как могли попасться на удочку такому прохвосту.

Но в защиту нас, ротозеев, является так называемая репутация. Относительно некоторых «симпатичных» личностей предупреждают и предостерегают.

Да и вообще, мы ведь знаем, в нашей судьбе тот или иной человек может сыграть большую роль и мы всегда как бы на-чеку против людей малоизвестных, неизученных. Если и попадемся, то отчасти сами и виноваты.

Но в чем мы совершенно беззащитны, это в отношении к нам вещей. Странным, пожалуй, покажется такое выражение «отношение вещей». Как может «относиться» неодушевленный предмет?

Вот именно, потому что мы этого не понимаем, мы и беззащитны.

Кто из нас не слыхал легенд о каких-нибудь зловещих алмазах, приносящих несчастье своим обладателям? Но говорят о них только потому, что это предметы

дорогие, драгоценные, от которых и пострадать лестно. О какой-нибудь сковороде, срывающейся с кухонной полки и калечащей подряд двух хозяйских кошек — рассказывать никто не станет. Мелко. Кухня, кошки, сковорода — что за тема для разговора!

Но оставим сковороду. Перейдем к предмету более бонтонному.

Каждая дама знает, что есть платья счастливые и несчастные. Счастливое платье может быть и не очень удачное, старенькое и даже не к лицу, но если наденешь его, всегда чувствуешь себя довольной, веселой, все дела удаются, все люди любезны и ласковы.

Несчастное платье может быть очаровательным, дорогим, очень идущим к лицу, прекрасно сидящим, возбуждающим восторг и зависть. А между тем — наденешь его и жизни не рад.

Тот, ради которого оно надето, либо совсем в обществе не появится, либо появившись выкажет полное равнодушие или даже неприязнь, совершенно неизвестно почему.

Особа, нарядившаяся в несчастное платье, будет скучать, чувствовать себя обиженной, одинокой, никому ненужной. И от этого сознания станет неловкой, ненаходчивой, неостроумной и даже прямо несчастной.

И это, заметьте, каждый раз, когда она надевает это платье.

Психологически, конечно, начнут объяснять так: первый раз, когда дама надела это платье, ей почему то не повезло, и вот впоследствии, каждый раз надевая его, она подсознательно тревожилась, ожидая повторения неприятных впечатлений, и эта тревога угнетала ее, делала

неуверенной, неловкой, а потому и неинтересной в обществе.

Ну так я вам скажу, что это совершенно неверно. Дама, заплатившая дорого за свое платье и считающая его удачным, ни в какое подсознательное не допустит мысли, что это от него ей невезет. Нужен долгий и очень сознательный опыт, чтобы она пришла к выводу: «А ведь каждый раз, когда я надеваю свое прелестное платье, меня ждут неудачи». Потому что вывод этот несет катастрофу: выбросить платье.

Бывают «невезущие» мелочи туалета, часы, кольца, карандаши.

Бывает так, что какая-нибудь довольно громоздкая часть мебели въедет в квартиру и испортит жизнь в ней живущим, перессорит, разлучит, насплетничает, оклевещет. И никому в голову не придет, что виновата именно эта проклятая штука.

Вот, например, был у моей приятельницы зеркальный шкап. Самой обыкновенной ореховой внешности, внутри разделенный продольной перегородкой, — чтобы по правую сторону вешать на крючки платья, а по левую класть на полочки белье и мелочи.

Словом — такая банальная штука, что и описывать ее совестно. И вот, — можно ли было подумать, что эта простая на вид штука способна сыграть роль доносчика, шпиона, предателя, шекспировского Яго.

Стоял этот шкап в спальне, а так как квартира была стиля модерн, то дверей в спальню не было, а соединялась она с гостиной большой аркой. Шкап стоял посреди стены, а против него на стене гостиной висело зеркало, как-то наискосок и так лукаво, что в какой угол ни зайди, непременно в шкапу отразишься.

Муж моей приятельницы был человек занятой и приходил домой в самое неопределенное время, отпирая дверь своим ключем.

И вот первое, что ему бросилось в глаза — это было отражение в зеркале того, что происходит в доме. Лукавая вещь ухитрялась, через какую-то блестящую поверхность, через узенькое зеркальце над буфетным ящиком, ловить даже то, что делается в столовой и даже в коридоре. Как сплетник и доносчик, шкап бежал впереди всех навстречу хозяину и, торопясь и перевирая, докладывал ему обо всем.

Тщетно убеждала его жена, что зеркало в шкапу испорчено.

— Кто это шмыгнул по коридору на черную лестницу? — мрачно спрашивал муж.

— Да ровно никто! — в благородном негодовании отвечала жена. — Пойди посмотри, там никого нет. Ты безумец!

— Какой смысл смотреть, — упорствовал безумец. — Что же он будет ждать, чтобы я подошел и набил ему физиономию?

Под разными предлогами жена пробовала переставлять шкап. Но он тогда перемигивался с зеркалом в передней, и спрятаться от него нельзя было, даже в ванной.

Отвратительнее всего, по словам невинно потерпевшей, или вернее невиннотерпящей, было то, что шкап врал. Он отражал то, чего никогда не было.

— Понимаете? — говорила она. — Вроде как мираж в пустыне. Мало-ли есть на свете таких обманов зрения, слуха и так далее.

Да именно и так далее. Шкап обманывал «так далее».

Однажды, вернувшись домой, владелец проклятого

шкапа увидел в его зеркале свою жену, полулежащую в грациознейшей позе на диване и рядом с ней обнимающего ее господина.

Владелец шкапа шагнул в комнату и увидел, что рядом с его женой сидит доктор Ферезев, их постоянный врач. Доктор, вероятно, только что выслушал легкия жены шкапового владельца, потому что тут же на столе лежала трубочка, приспособленная для этого дела.

Жена молчала, выпучив глаза. Зато доктор неестественно восторженно и громко воскликнул:

— А вот и наш муж!

Воскликнул и снова повторил:

— А вот и наш муж!

А потом еще и еще и все скорее и все глупее, пока пораженный всем этим муж не спросил наконец:

— Разве ты больна?

На что жена отвечала совершенно некстати обиженным тоном:

— Доктор находит, что я кашляю. Вечно ты придираешься.

Собственно говоря, ничего удивительного и подозрительного тут не было. Зашел доктор, нашел у нее кашель. Кашля до сих пор не было, но на то у него наука, чтобы разыскать скрытое зло. Поискал и нашел. А шкап отразил ерунду. Отразил дело в ракурсе и получилась оскорбительная для супружеской чести ерунда. Странно только, что доктор, вместо того, чтобы поздороваться, стал кричать, как попугай. Но, впрочем, нельзя же ему это серьезно поставить в вину. Тем более, что возглас был радостный и, так сказать, приветственный. Если бы он, что называется, «влопался», так скорее всего закричал

бы «чорт возьми» и уж конечно без всякого ликования. Так думал муж, и дело сошло гладко.

Но шкап думал иначе.

Недельки через две после описанного случая муж, вернувшись домой, увидел, в бросившемся ему навстречу шкапу, свою жену, на этот раз стоящую посреди комнаты. В этой невинной позе стояла она не одна. Ее обнимал какой-то неизвестный субъект и, если верить шкапу, целовал ее прямо в губы. Затем жена чуть-чуть повернула голову и в шкапу показались ее глаза, сначала обычного размера и обычной формы, но мало по малу они стали круглеть и вылезать наружу. Потом она отвернулась и, оттолкнув субъекта, сказала:

— Надо завести грамофон, а так у нас ничего не выйдет.

Субъект странно загоготал, но, повернув глаза, встретился в зеркале с глазами, которых очевидно не ожидал, и осекся.

— Это ты, Вася? — вполне естественным тоном сказала жена. — Заведи, дружочек, грамофон. Вот мосье Пирожников так любезен, что согласился научить меня новому танцу.

Значит, шкап опят наврал, опять подстроил ракурсы и опять оставил его в дураках с его равностью и подозрительностью.

Мосье Пирожников оказался вдобавок совершеннейшим кретином и к тому же кретином несветским. Он молча взял свою шляпу, поклонился и вышел. Словно его выгнали.

— Он робкий и простачок, — объяснила жена.

Конечно, такой не мог ей нравиться.

Грова пролетела мимо, но шкап не успокоился. Он

сделал такую подлость, на какую может быть способен только человек. Да и не всякий человек, а исключительно мстительный и злющий. Яго.

Между прочим — почему все так злобно нападают на Яго? Ведь у Шекспира есть ясный намек на былой флирт Отелло с женой Яго. Следовательно Яго, разбивая счастье мавра, мстил из ревности. Он, значит, был тоже Отелло (употребляя это имя, как имя нарицательное).

Но, вернемся к шкапу.

Шкап был хуже Яго. Никто его супружеской чести не оскорблял и он не страдал ревностью. Но сделал он следующее.

Однажды владелец его, в отсутствие жены, долго искал какой-то галстук и, не найдя, решил, что жена сунула его в свой шкап.

Браня жену за безалаберность, он сердито дернул зеркальную дверцу и в то же мгновение с верхней полки вылетел перевязанный легкой ленточкой пакет, щелкнул его по лбу и осыпал с головы до ног письмами.

— Вот, мол, дурак. Надо тебя по лбу щелкнуть, чтобы ты поверил.

Жертва шкапа долго сидела на полу, читала писанное разными почерками:

«...Приду, когда твоего болвана не будет дома...»

«...знаю, что ты горишь, но и я сам горю...»

«...что может быть блаженней твоих объятий...»

«...люблю, когда ты шепчешь «еще, еще».

Жертва читала, с недоумением и даже любопытством спрашивая:

— А это кто-же?

— Ну, а это то кто?

А шкап торжествующе отражал его физиономию — растерянную, несчастную и глупую.

ОГЛАВЛЕНИЕ

O. ZELUCK - Editeur, — 11, rue Royale. Paris.